

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА *Р* БОЛЬШИЕ КНИГИ

Анатолий
Калинин



ЦЫГАН

« А З Б У К А »



Русская литература. Большие книги

Анатолий Калинин

Цыган

«Азбука-Аттикус»

1960-2011

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Калинин А. В.

Цыган / А. В. Калинин — «Азбука-Аттикус»,
1960-2011 — (Русская литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-24140-4

«...Ни одно из своих произведений Калинин не писал с такой страстной и беззаветной самоотдачей, как свой роман о Клавдии и Будулае», – вспоминает дочь писателя Наталья Калинина. Первая часть романа, изначально задуманного как повесть, вышла в 1961 году в журнале «Огонек»; последняя – девятая – в 2011 году уже после смерти автора. На протяжении сорока с лишним лет Калинин вновь и вновь возвращался к своим героям, их трудной любви, за их судьбой следили миллионы читателей и телезрителей. Роман был неоднократно экранизирован, на его основе создано несколько театральных постановок, написана романтическая опера, а его герои стали поистине народными – любимыми и родными. В настоящем издании представлен полный текст романа с предисловием Натальи Калининой, в котором дочь писателя вспоминает о своем отце и рассказывает об истории создания его самого знаменитого произведения.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-24140-4

© Калинин А. В., 1960-2011

© Азбука-Аттикус, 1960-2011

Содержание

Вместо посвящения	6
Цыган	13
Часть первая	13
Часть вторая	45
Часть третья	79
Конец ознакомительного фрагмента.	104

Анатолий Калинин

Цыган

© А. В. Калинин (наследники), 2023

© Н. А. Калинина, статья, биографическая справка, 2023

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023

Издательство АЗБУКА®

Вместо посвящения

Я всегда считала «Цыгана» самым загадочным из всех произведений Отца.

«Почему „Цыган“, а не „Казак“?» – спрашивали у него друзья, читатели, критики. Спросил об этом и «главный цыган» России или, если угодно, Советского Союза Николай Сличенко, который перенес на сцену театра «Ромэн» начальные части романа и с блеском – тогда еще молодой и всеми обожаемый – сыграл главную роль. «Я живу среди казаков и все время о них пишу. А „Цыган“ роман и о казаках тоже», – обычно отвечал Отец. Одному слишком пытливному журналисту, помню, сказал: «Мой пращур был цыганом и спал под кустом калины – от него и пошел наш род Калининных».

Может, в этом ответе и есть разгадка той особенно пылкой любви, которую испытывал Отец к своему Будулаю?.. Критики советских времен, а они были злые и невежественные в своей массе, уж поверьте мне, «голос крови» считали темным предрассудком, чем-то сродни вере в Бога. Отцу, кстати, доставалось от советских критиков по первое число. И за «Суровое поле», в котором он якобы оправдывал власовца, и за «Эхо войны» – главная героиня-то предательница, мать полицаев, а выписана ярко и даже, быть может, с состраданием. А за юношеский роман «На юге», созданный в окопах Великой Отечественной, Калинина обозвали «квасным патриотом», потому что его герои – а так было на самом деле – рядом с советскими орденами носили Георгиевские кресты. «Цыгана» критики не жаловали своим вниманием – уж больно велика оказалась читательская любовь к Будулаю и Клавдии, и никому не хотелось вызывать на свою голову гнев народа.

И вот в 1967 году на экраны выходит художественный фильм «Цыган», поставленный Евгением Матвеевым по первой части романа, той самой, которая вызвала у читателей столь большую любовь с привкусом печали. Евгений Семенович Матвеев, частый гость в нашем пухляковском доме, рассказывал, в лицах разумеется, как его буквально атаковали на улицах, в присутственных местах люди разных возрастов и профессий, требуя от него, очень правдиво перевоплотившегося в цыгана Будулая, вернуться немедленно к Клавдии, которую со столь проникновенной убедительностью сыграла Людмила Хитяева.

«А что автор?» – спросит невольно читающий эти строки. Признаться откровенно, Отец, посмотрев «Цыгана», был расстроен и даже хмур, что пытался скрыть от Матвеева и других создателей фильма. И не потому, что у Матвеева не хватило таланта, темперамента или чего-то еще, – всего этого у Евгения Семеновича оказалось в избытке, – в душе у автора, разумеется, жил свой Будулай...

Мы, домашние, давно заметили, что ни одно из своих произведений Калинин не писал с такой страстной и беззаветной самоотдачей, как свой роман о Клавдии и Будулае.

...Помню, дело было зимой. Отец спустился из мезонина, где спал, работал либо читал, остановился на последней ступеньке крутой деревянной лестницы, сказал: «Он постучался ко мне в окно своим кнутом... – И, видя мое недоумение и любопытство, добавил: – Цыгане обычно стучат в окно кнутом. Он в табунных степях, на конезаводе. Но Клавдия пока не знает об этом...» Мы завтракали в полном молчании, не желая нарушить плотную – до осязаемости всеми органами чувств – атмосферу, вдруг окутавшую нас своим волшебным облаком. Отец произнес всего несколько фраз: «Там директором конезавода генерал, воевавший в казачьей кавалерии. Будулай встретил своих родичей – цыгане всегда собираются там, где лошади. Он живет один, в вагончике. Вокруг табунная степь... И конокрады бродят... Его одна цыганка очень любит...»

«А как же Клавдия?» – невольно вырывается у меня. Отец долго молчит, медленно мешая ложкой в чашке с чаем. «Клавдия, я думаю, поедет его искать. Но она пока точно не решила. Ей уже сорок, у нее взрослые дети, и она стыдится людей... – Отец наливает в блюдце

остывший чай и вдруг резко отодвигает его от себя, расплескав на клеенку. – А ведь любовь не спросит, когда ей прийти...» Забегая вперед, скажу, что в эти дни и написалось одно из самых пронзительных стихотворений Отца о любви:

Ругают женщину одну
За то, что в сорок лет запела
И вновь отпраздновать весну
Свою под осень захотела...

Но вернемся к Будулаю и Клавдии. Отец вдруг стремительно вскочил из-за стола, бросил: «Обедать не зовите» – и бегом поднялся в мезонин. Оттуда долго доносились его тяжелые шаги, потом он что-то двигал, гремел печной дверцей – в ту пору у нас было печное отопление и зимой обычно горели три, а то и четыре печки. Потом читал что-то вслух довольно громко, несколько раз сказал решительно и громко: «Нет! Только не это!» Спустился уже ближе к ужину – грустный, осунувшийся, с потухшим взглядом. «Пойду гулять», – сказал едва слышно, надел тулуп, шапку. Было морозно и звездно. Я слышала, как под его ногами скрипит снег, видела его печальную тень на снегу... Поняла безошибочно: что-то случилось с Будулаем или Клавдией. Скорее всего, судьба снова их разлучила...

Я рассказала всего об одном коротком эпизоде из истории создания романа «Цыган», истории длинной – в сорок с лишним лет. Калинин всегда уходил с головой в творчество: писал ли он статью для центральной газеты, очерк, повесть и так далее. Но в истории с Клавдией и Будулаем это был не уход, а самое настоящее отшельничество. Часто он завтракал, обедал, ужинал в своем мезонине, машинально что-то жуя, глотая. Бывало, не брился по несколько дней – а ведь сам до глубокой старости оставался всегда аккуратным, подтянутым, чистым до душистого блеска.

Разумеется, Отец не мог отказаться от своих обязанностей депутата Верховного Совета. Разумеется, в нашем доме практически каждый день бывали люди – и местные, и издалека, и по делу, и просто так... Я видела, Отец с трудом переключается, то есть возвращается от Будулая, Насти и других – так и хочется сказать, в ту пору самых близких для него людей – к жизни реальной, к депутатским хлопотам, к письмам друзей. «Поставь мне Первый концерт Чайковского в исполнении Вана Клиберна, – просит он вечером. Слушает музыку внимательно, иногда смахивая украдкой слезинку. Или просит найти пластинку с романсами Глинки. Говорит потом: – Музыка мне делает больно. Я чувствую себя незащищенным от всех стихий, чувств в первую очередь. Без этого художнику нельзя. Для него не существует чужой боли, чужой радости... Душа должна быть растревоженной, только тогда имеешь право взяться за перо. Равнодушным и отстраненным оно служит неверно...»

А потом, уже в разгар весны, я слышу, как Отец бегом спускается по лестнице из мезонина, чуть не падая вниз. Глаза у него блестят восторженной радостью. «Шелоро сказала ей. Она ей все сказала... Эта Шелоро очень интересная личность: появляется внезапно там, где она необходима как воздух. Рассказала Клавдии, что Настя вышла замуж. Не за Будулая, а за русского. Того, который ей проходу не давал. За Мишку Солдатова. Клавдия обрадовалась... Надавала Шелоро яиц, зерна, хлеба, одежды для деток. Готова была все из дома вынести за такую радостную весть...»

За обедом у нас царит праздничная атмосфера. Отец вспоминает смешной старый анекдот – очень целомудренный, разумеется. Других он просто не знает и никогда не слушает. Потом читает Маяковского, Блока... Память у него отменная, очень точная. В его исполнении Маяковский мне даже немного нравится, а вот читать его я не люблю. Ну а Блок – наша совместная горячая любовь. Как и музыка Чайковского, Рахманинова, Шопена... Мы говорим о стихах и музыке, помню, в частности, о фа-минорном концерте Фредерика Шопена, посвя-

ценном его первой – идеальной – любви Констанции Гладковской. Отец задает мне много вопросов, считая меня знатоком в этой области. Я с удовольствием рассказываю все, что мне известно. Как вдруг он говорит: «Он ее выдумал, свою Констанцию. Я слышу это в музыке. Она – мечта об идеале». И вдруг читает стихи, от которых у меня, думаю, и у всех сидящих за столом, мороз по коже:

Не упади, звезда, на землю,
Тебе на ней и места нет.
Лишь только в небе и приемлют
Земные очи звездный свет.
Не урони себя с вершины
В молниеносной борозде,
Не оставляй в ночной пустыне
Мне только память о звезде.

Мы все молчим. Долго молчим. Наконец я осмеливаюсь спросить: «Чьи это стихи, папа? Неужели... Не может быть». Он достает из кармана рубашки сложенный пополам листок. Стихи написаны карандашом, четким и красивым – ничего подобного больше в жизни не видела – почерком. Я знаю, это уже чистовая копия. А сколько их было черновых, пока не вылилось вот так естественно легко и прекрасно. Он угадывает мои мысли. «Да, ты права. Помнишь, у Маяковского: „Поэзия – та же добыча радия. В грамм добыча, в год труды...“ Можешь перепечатать». С недавних пор Отец иногда доверяет мне перепечатывать на машинке, но только не начисто, для печати, а очередной черновик, по которому он еще не раз пройдет карандашом либо ручкой. Начисто – это привилегия Мамы, которая разбирает его каракули, – ведь порой Отец пишет на четвертушках бумаги, да еще наискосок, да еще плохо подчиненным карандашом, да еще прислонившись к стволу дерева в саду и так далее. Понимаю с ходу: это стихотворение тоже относится к отношениям Будулая и Клавдии, к их любви... Они пока так и не встретились. «Боишься?» – спрашиваю у Отца. «Наверное. Хотя хочется, чтобы они были вместе. Но в жизни так случается редко, крайне редко. А если и случается...» Он замолкает, задумчиво смотрит в окно.

Я сажусь печатать стихотворение, которое уже знаю на память. Мне хочется плакать. Из-за того, что звезде нельзя упасть на землю. Что Будулай и Клавдия любят друг друга и не могут быть вместе. Что я тоже не могу быть вместе с тем, кого так люблю... Все, к чему человек прикасается своими жадными нетерпеливыми руками, превращается со временем в прах, в горькую память о несостоявшейся любви и упавшей на землю звезде.

А потом эта часть «Цыгана» печатается в журнале «Огонек», в то время самом интересном и читаемом. Да и тираж у него – несколько миллионов! Мало того, когда выходит свежий номер «Огонька» с «Цыганом», в киоски выстраиваются длинные очереди. Сейчас в такое трудно поверить, но я неоднократно наблюдала это своими глазами. У нас бесконечно звонит телефон – со всех концов страны почитатели творчества Калинина и просто читатели откровенно высказывают свое восхищение, негодование, радость. Женщины чаще негодуют – опять автор разлучил Клавдию с Будулаем, снова она одна, совсем одна, ведь теперь и дети выросли, разлетелись из родительского дома. И Будулай один... Как несправедливо распорядился автор судьбами своих героев. Больше всех возмущаются вдовы и просто одинокие женщины. Кто-то из них роняет с грустью: «Прочитав вашего „Цыгана“, я поняла, что никогда не выйду замуж. Разве что за такого человека, как Ваш Будулай. Почему же вы, уважаемый автор, не хотите, чтобы они с Клавдией наконец обрели свое давно выстраданное счастье?..»

Звонит Клара Лучко и, захлебываясь от восторга – всю ночь читала очередную часть романа, – говорит, что сгорит от нетерпения сыграть Клавдию Пухлякову в кино. «Это моя

роль, Анатолий Вениаминович, только моя. Всю жизнь ее ждала. Нужно немедленно запустить в производство многосерийный телевизионный фильм. Вы же помните, десять лет назад я сыграла Любаву в Вашем „Суровом поле“ на сцене Театра киноактера...» Замечательно сыграла, что верно, то верно. Любава, как мне кажется, родная сестра Клавдии Пухляковой. Она тоже умеет ждать любимого и тоже не боится страдать. Вижу, Отец размышляет над словами Клары, пока молчит. Тем временем «Цыган» выходит отдельной книгой уже как роман. В нем появляются новые герои, к которым читатель сразу прикипает душой, – Катька Аэропорт, полковник Привалов, Шелухин, старая цыганка... Инсценировки романа идут уже не только в «Ромэне», но и во многих театрах нашей страны. Идут с успехом, занимая первые строчки репертуаров. Об этом сообщает журнал «Театр», который Отец давно выписывает и читает. Отец наотрез отказался участвовать в написании инсценировки, вызвав всеобщее удивление, – ведь это большие, очень большие по тем временам деньги. Он остается верен своему жанру и своему Будулаю, разумеется, – тот, которого играют на сцене актеры, уже не принадлежит автору романа «Цыган».

Лучко звонит снова и снова. Когда Отец бывает в Москве на сессиях Верховного Совета, находит его там. К уговорам подключается ее муж, Дмитрий Федорович Мамлеев, ответственный секретарь «Известий», где Отец часто публикует свои, как правило, туго идущие из-за слишком суровой и справедливой критики власть имущих очерки и статьи.

Наконец он сдастся. Да и можно ли устоять перед уговорами Клары Лучко, в интонациях которой Отец уже узнает свою Клавдию. Слышу, он часто называет ее по телефону Клавой – не умышленно, разумеется, а так получается. Потом в нашем доме появляется тот, другой, Будулай – Михай Волонтир, который, как мне кажется, занимает в сердце Отца особое место, где-то совсем близко к его Будулаю...

А когда на экранах телевизоров наконец появляется «Цыган» с Лучко, Волонтиром, Матлюбой Алимовой, Ниной Руслановой и другими замечательными актерами, Отец вдруг садится за своего «Цыгана», то есть его очередную часть. «Но конец должен быть счастливым, – возбужденно кричит в трубку Клара Лучко, словно заново родившаяся после выхода телефильма. – Не будьте таким жестоким, прошу вас. Люди ждут, что Будулай и Клавдия будут наконец вместе...»

Мне кажется, Отец сам уже хочет, чтобы они были вместе, но... «Я не могу заставить их сделать что-либо силой, – признается он. – Они живут своей жизнью. Давно, очень давно... Они меня не послушают. Кажется, Клавдия уже полюбила свое одиночество, да и Будулай немного одичал... – Отец задумчиво смотрит в окно, на Володин бугор, где когда-то давно раскидывали свои шатры настоящие таборные цыгане. – Он частично потерял память после побоев. Помнит войну, боевых товарищей, а Клавдию забыл. Быть может, потому, что слишком сильно хотел быть с ней... Возможно, к нему вернется память, но никто не знает, когда это случится...»

Отец часто слушает музыку Валерия Зубкова к телефильму. Вся страна ее слушает. Звучит в магазинах, заставкой к различным радиопередачам, как позывные молодежной станции, в телепрограммах на разные темы... Я знаю, он думает под нее и благодаря ей о своем Будулае. Знаю и то, что, несмотря на любовь к Михею Волонтиру за его понимание, а следовательно, и почти живое перевоплощение в Будулая, у Калинина в сердце продолжает жить свой цыган. Вероятно, сам того не сознавая, он часто спрашивает себя: а как бы на моем месте поступил Будулай?.. И Будулай задается аналогичным вопросом. Да, да, именно так. И это случилось давно, это неизбежно должно было случиться. А если бы не случилось, о романе «Цыган» и его герое Будулае давно бы все забыли. Ведь забыли же о многих и многих повестях и романах других авторов, написанных всего лишь ради денег, славы, но только не в силу потребности прожить какой-то значительный отрезок времени одной жизнью со своим героем.

Сериал «Возвращение Будулая» Отца расстроил. По своей душевной доброте и доверчивости он положился целиком на режиссера, главного сценариста Марьямова – вот и вышла отсебятина, где актерам нечего играть, сюжет похож на верблюжью жвачку, а главное, начисто исчезла та захватывающая душу романтика возвышенной любви, без которой и Будулай, и Клавдия оказались самыми обычными серыми людьми. Таких и им подобных наше телевидение наплодило тысячи. И счастливый конец, мне кажется, не порадовал зрителей – слишком надуманным он вышел, неубедительно приторным. Но герои романа продолжали жить своей жизнью, и этому не могли помешать никакие удачные либо неудачные теле- и киноверсии.

А потом, в очередной – третьей по счету – киноверсии «Цыгана», Будулая сыграл Отар Мегвенетухуцесия, великий, не побоюсь этого слова, театральный и киноактер. Клавдией стала Ирина Купченко, сломав во многом сложившиеся стереотипы экранного воплощения хуторских женщин. И еще такие прекрасные актеры участвовали в том фильме, как Георгий Юматов, Татьяна Васильева, Лидия Вележева, Рада Волшанинова... Отар тоже бывал у нас в доме, сидел за столом, разговаривал душа в душу с Калининым. Этот актер сумел дополнить экранный образ Будулая доселе неизвестными – трагедийными – чертами. Он словно бы донес из глубины веков – цыгане очень древнее племя – боль и скорбь этого гонимого за какие-то давние грехи народа и давно смирившегося с гонениями.

«Цыгана» – в восьмичастном варианте – издавали с удовольствием и много. И Москва, и Киев, и родной Ростов, и далекая Уфа... Разумеется, за рубежом тоже. В славянских странах роман имел большой успех. Особенно в бывшей Югославии. Как ни странно, на Западе самым большим успехом пользуется роман «На юге», переведенный практически на все цивилизованные языки мира. Его издавали и переиздавали под названием «Казаки», «Донские казаки», «Казаки идут на запад». Отец не получил за этот роман, как, впрочем, и за своего «Цыгана», никакой премии – ни Сталинской, ни Ленинской. Потому что не был никогда придворным – прирученным – писателем. Как говорится, каждому свое.

Но я снова хочу вернуться к цыгану Будулаю, Клавдии, Шелоро, Егору... Роман – Восьмая часть его, – на мой взгляд, кончается ужасно. Еще более трагично, чем «Ромео и Джульетта» Шекспира, – они хотя бы умерли в объятиях друг друга, наверняка обретя свое счастье на Небесах. А здесь... Едва обретя друг друга, Клавдия и Будулай вынуждены расстаться. И как... Я позволю себе процитировать самый конец «Цыгана». Трагедия в ее чистейшем – античном – виде. Бескровная, а потому еще более страшная.

«Догнав Клавдию на нижней придонской дороге уже на полпути между станицей и хутором, Будулай соскочил с мотоцикла и долго вел его за руль рядом с ней, пока она, останавливаясь, сама не спросила у него:

– Зачем ты гоняешься за мной? Ты что же думаешь, я сейчас ухвачусь за тебя двумя руками и скажу, чтобы ты оставался со мной? А она там, слепая, пусть так и шуршит похоронкой по ночам. Слепая, а посмотри, какую без тебя подняла дочь. По одним ладошкам гадала женщинам, когда мужья вернутся с войны, и они верили ей... Не гоняйся больше за мной и уезжай, если не хочешь, чтобы люди, – на мгновение Клавдия запнулась и твердо договорила, глядя сухими блестящими глазами на Будулая, – подумали о тебе хуже, чем они думали о тебе.

Будулай снял свою летнюю соломенную шляпу с застрявшими в ней иголками сосен, через которые ему приходилось продираться во время обходов острова, и поклонился ей.

– Я знал, что ты это скажешь мне.

– Спасибо, – чуть побледнев, насмешливо ответила она, и он вдруг узнал в ней ту, прежнюю, Клавдию, которую некогда догнал на этой же береговой дороге на велосипеде между станицей и хутором. Целая вечность прошла с тех пор.

– А как же Ваня? – глухо спросил Будулай.

– Хорошо, что он так и не узнал ничего, – почти шепотом ответила Клавдия.

– Но довезти тебя до дома ты позволишь мне?

– Нет, – непреклонно сказала она и вдруг потянулась рукой, снимая у него с плеча ружье. – А вот его мне придется у тебя взять. Как же нам с Дозором без него остров охранять? – Будулай сделал движение, чтоб придержать ее руку в своей, но она, отступив от него, вскинула ружье: – Не подходи! – И опять упавшим до шепота голосом добавила: – Скорей уезжай, Будулай. Чтобы, когда я вернусь домой, уже не было тебя».

Помню, Отец читал заключительный отрывок из Восьмой части, уже переписанный начисто его словно подхваченным вихрем почерком на сложенных в книжечку перегнутых пополам листах бумаги. Закончил читать... Вижу, Мама плачет, а у меня так больно и тревожно на душе, что слезы где-то далеко и глубоко внутри, а значит нет и не будет облегчения. Отец кладет листки на стол, отворачивается, смахивает украдкой слезинку и вдруг громко всхлипывает. «Неужели она смогла бы выстрелить в него?» – думаю я. И вдруг представляю себя на месте Клавдии. Смогла бы?... Думаю, что да. А потом – в себя. Зачем жить, если навсегда утеряна Единственная Любовь. Говорю вслух: «Многие не поймут. Особенно женщины. Тебе придется писать продолжение». – «Нет. Больше ничего не будет. Хватит. – Отец с грохотом отодвигает стул, меряет тяжелыми шагами наши скрипучие половицы. – Сердце болит, – говорит едва слышно. – Всегда болит сердце, когда думаю о них. Почему у них так получилось?..»

А по телевизору тем временем по несколько раз в году показывают «Цыгана» и «Возвращение Будулая». Многие смотрят, звонят Отцу, присылают восторженные письма и телеграммы. Он роняет как-то: «Счастливый конец – это как соска для зрителя. Мы все любим эти соски».

«Роман-газета» не опубликовала по каким-то соображениям Восьмую часть, хотя она и стояла в их издательском плане. А ведь весь «Цыган» прошел через «Роман-газету», тоже в ту пору выходившую миллионными тиражами. Кроме Восьмой части. Думаю, Отца это ранило в самое сердце, тем более что тогдашний редактор «Роман-газеты» Валерий Ганичев и вся его редакция хвалили ее публично.

Бог с ними, с издателями. Тем более что «Цыгана» публиковали охотно, огромными тиражами и подчас даже без ведома автора. На «пиратов» Отец никогда в суд не подавал, но, помню, одному из них самому сделалось стыдно, и он вдруг заплатил автору частью тиража книги, экземпляры которой разлетелись в мгновение ока на подарки с автографами.

На этом можно было бы поставить точку, хотя Будулай, Клавдия, Настя, Шелоро и другие персонажи романа мне всегда казались моими близкими знакомыми, о которых мы все – и те, кто приезжал в гости, тоже – всегда говорили с удовольствием. Так, будто они живут где-то рядом, держат с нами постоянную связь, и мы всегда знаем, что происходит в их жизни.

Помню, мы с сестрой срочно прилетели из Москвы, когда родители отравились газом, – дело было в середине девяностых. По пути из аэропорта заехали в шахтинскую больницу, еще не зная, как обстоят дела, – мобильников в помине не было. Прошли в палату. И Отец, и Мама уже были в полном сознании, хотя совсем слабые. У Отца как-то странно поблескивали глаза. Я наклонилась поцеловать его, а он говорит: «Я видел его. Это он нас спас от смерти». Я почему-то сразу поняла, что Отец имеет в виду Будулая. Творческая мысль не умирала в нем ни на мгновение даже тогда, когда он был на самой грани перехода в другой мир. В доме, где было холодно и еще чувствовался угарный дух, хотя все было раскрыто настежь, я в первую очередь обратила внимание на пишущую машинку на столе в нашей столовой, в которой был заправлен лист. Выходит, они оба работали и прозевали ту зыбкую грань бытия, за которой начинается забвение. К счастью, в данном случае не фатальное. Мы навещали их в больнице каждый день – что такое сорок километров, хоть и по гололеду, на который была так щедра та весна, – когда сердце переполняет благодарность к Господу за чудесное спасение самых близких людей и неодолимое желание видеть их, касаться их рук, смотреть в их живые глаза. Отец рассказывал о Будулае – сумбурно, ярко, влюбленно. Как он отчетливо его видел в своем полусмертельном бреду, как Будулай держал его за руку, не позволяя отойти в иной мир. Вернув-

пшсь из больницы, он чутъ ли не на следующий день засел за работу, снова воссоединившись душой со своим Будулаем, самым дорогим – бесценным – другом его жизни. Не верьте, когда говорят, что творец любит только того, о ком пишет, кого лепит либо рисует в данный момент. У каждого истинного творца есть свой любимый на всю жизнь герой. Тот, о котором он будет вспоминать даже на смертном одре.

Но по какой-то ему одному ведомой причине Отец не стал спешить с опубликованием этой – последней – части. Опубликовал «Послесловие» в стихах, где и Будулай, и Ваня оказались среди защитников Белого дома. Он читал нам отрывки из нового «Цыгана», снова прятал в стол. Мама, разумеется, знала – ведь она всегда перепечатывала все произведения Отца, но, как обычно, хранила молчание. Отец обмолвился как-то: «Распорядись всем по своему усмотрению, когда меня уже не будет...» С детства не люблю разговоры на темы вечной (на самом-то деле она не вечная) разлуки, свирепею от них, а потому Отец меня щадил...

Прошло какое-то время... Страдания, боль, отчаяние оттого, что больше не увижу во плоти, не смогу прикоснуться, поцеловать, шепнуть на ухо: «Очень люблю тебя», немного смягчило реальное осознание присутствия Отца во вся и всем – в саду, посаженном в основном его руками; в этих холмах по северной кромке горизонта, описанных им почти в каждом произведении с такой осязаемой любовью; в местных жителях, вспоминающих о нем добрым словом и одаривающих меня предназначенной ему любовью... Уже и слезы появились, размягчив жесткий комок во всем существе. И книжка стихов вышла, озаглавленная первой строчкой из его стихотворения «Когда меня уже не будет...». Оно как-то прозвучало по Центральному телевидению – сам Отец его прочитал, – и посыпались письма, телеграммы, звонки с единственной просьбой: прислать текст этого стихотворения. Мама находила – и находит – все новые и новые, так и хочется сказать, сюрпризы, чудеса, волшебные тайны из старых папок, ящичков, коробок, запыленных портфелей. И Девятую часть «Цыгана» она извлекла на свет божий. Я читала и обливалась слезами. Снова читала. И снова со слезами. Напротив моего окна в мезонине, где когда-то творил Отец, светится на краю отмели огонек красного бакена. Как капелька крови... Вы прочитаете завершающую – Девятую – часть «Цыгана» и многое постигнете. Сиюминутного, то есть такого, о чем забываешь сразу после прочтения, в ней нет ничего. Впрочем, в остальном творчестве Калинина, даже в его газетных статьях, тоже этого нет. Поймете, как Отец любил – и продолжает любить – своего Будулая. Оставил для него шанс жить, метаться, страдать... Наверняка обратите внимание на то, что Клавдия охраняет от браконьеров заповедный остров с вековыми дубами, которые, по преданиям, хранят мудрость тысячелетий. Нам бы сейчас испить из чаши этой мудрости. Хотя бы глоток...

Наталья Калинина

Цыган

Часть первая

Иногда по самому лезвию степи, по дальнему синему пределу ее, вымытому дождем, то ли одинокое облачко проскользнет, то ли шатер на колесах. И – нет его. А может быть, и не было совсем.

Все знали, что Клавдия Пухлякова не боится ни Бога, ни самого председателя колхоза. Недаром Тимофей Ильич Ермаков, объезжая хозяйство колхоза, всегда старался стороной прошмыгнуть на «Победе» мимо свинофермы четвертой бригады. Тимофей Ильич объяснял это себе тем, что на ферме и без его вмешательства дела идут хорошо, не признаваясь, что на самом деле ему не хочется лишний раз встретиться там с Пухляковой.

Если же ему все-таки не удавалось незаметно проскользнуть, он должен был приготовиться принять от Клавдии на свою голову сразу весь тот залп не особенно приятных слов и выражений, что она приберегла для него за неделю. И можно было не сомневаться, что она не забудет ни одной из тех мелочей, которые с такой охотой забыл бы Тимофей Ильич.

Голос у Клавдии был громкий, его издали можно было угадать, когда хуторские женщины, собираясь вечером на посиделки, запевали «Конь боевой с походным выюком...». Председательская «Победа», отъехав от фермы, уже заворачивала за угол свинарника, а в уши Тимофея Ильича все еще толкались летящие вдогонку слова, что, кабы не заливал он с утра глаза, он бы видел, что только одна половина предназначенной свиноматкам дерти попадает из амбара на ферму, а другая половина уплывает налево. Одну подводу везут на свинарник, а другую – во двор к главному бухгалтеру или к старшему кладовщику. Председателю нелишне бы поинтересоваться, на каких харчах подрастают у них в катухах сразу по два и по три кабанчика...

Между тем при взгляде на Клавдию Пухлякову никто не мог бы сказать, что у нее такой характер. Скромной, красивой наружности женщина, с тихими серыми глазами. Можно было поклясться, что прячется где-то в самой глубине этих глаз затаенная печаль. И все лицо Клавдии с того дня, когда ей принесли похоронную о муже, убитом под Таганрогом, как будто было задернуто дымкой.

Но стоило всего лишь один раз услышать, как достается от нее председателю, чтобы тут же и согласиться с общеизвестным утверждением о тихих омутках... Главный бухгалтер колхоза никак иначе и не называл Клавдию Пухлякову за глаза как сатаной в юбке. В глаза он предпочитал величать ее Клавдией Петровной.

Тем более странным могло показаться, что есть, оказывается, вещи, которые заставляют бледнеть и эту женщину. И совсем удивительным должно было показаться, что боится она тех самых вещей, к которым давно уже со снисходительным презрением относятся самые маленькие дети. Во-первых, достаточно было произнести при Клавдии слово «цыгане», чтобы она тут же изменилась в лице, стала не похожей на себя. При известии, что поблизости от хутора появились цыганские шатры, она, судя по ее поведению, не только сама начинала испытывать страх, но и панически боялась за своих детей-двойняшек: мальчика, столь же черноголового и кудрявого, сколь белоголовой и кудрявой была девочка, его сестренка. Клавдия немедленно зазывала их с улицы в дом и, пока стояли за хутором шатры, строжайше запрещала им бегать вместе с другими ребятами на выгон.

Свирепых племенных хряков не боялась, бесстрашно заходила к ним в загон и умела усмирить их, когда они начинали пороть друг друга клыками, а тут трепетала, как сухой лист на вербе под ветром. Во-вторых, весь хутор терялся в догадках о причине той власти, которую с некоторых пор приобрела над ней самая вздорная из здешних старух – Луцилиха. Сто-

ило лишь этой старухе, от которой давно уже отвернулись другие люди, прийти к Клавдии и в разговоре напомнить: «А ты не забыла, Клава, как мы с тобой хоронились в кукурузе от бомбежки?..» – и грозная для самого председателя Клавдия внезапно добрела и непременно спешила чем-нибудь порадовать ее. Чаще всего Лушилиха уходила от нее с поросенком, полученным Клавдией на ферме за хорошую работу.

Люди терялись в догадках о причинах такой щедрости Клавдии еще и потому, что до войны, пожалуй, ни к кому другому в хуторе не относилась она с такой откровенной враждебностью, как к Лушилихе и ее мужу. Не могла простить им и при случае всегда напоминала публично, что до коллективизации держали они самый большой в хуторе виноградный сад на четыре тысячи донских чаш-кустов, а когда началась коллективизация, вдруг распродали все движимое и недвижимое имущество и куда-то бежали из хутора налегке, чтобы много лет спустя приехать обратно. Не прощала Клавдия мужу Лушилихи, что он, еще совсем молодой, крепкий дед, по возвращении в хутор не пошел работать в колхоз, а, отделиваясь ссылкой на слабое здоровье, подражается складывать из камня-ракушечника большие скотные сараи и дома, откладывает в сундук тысячи. Не прощала и старухе ее длинного языка, осведомленности обо всем, что случалось и чего не случалось в хуторе. У нее можно было получить самые точные сведения даже о том, какой парень какие слова говорил своей девушке под яром не далее как вчера и как они миловались там друг с дружкой.

Для этого Лушилиха разбрасывает у своего двора под яром полдюжины круглых пиле-ных чурбаков, выждет, пока гуляющие вечером молодые парочки набредут на них и присядут отдохнуть, а сама подлезет у себя во дворе к плетню и, стоя на четвереньках, не дыша слушает. Наутро весь хутор знает, кто с кем целовался. «Ей еще будет, что трухлявый плетень подломится и она спикирует с яра прямо в Дон», – предсказывала Клавдия.

И вдруг она, что называется, прикусила язык. Совсем не слышно стало, чтобы высказывалась о Лушилиных, как прежде. Ни одного худого слова по их адресу теперь нельзя было вытянуть из уст Клавдии. Если же ей приходилось слышать, как в ее присутствии начинали ругать их другие женщины, она помалкивала.

Нет, не заступалась за Лушилиху, но и не спешила присоединиться к тем разговорам, которые прежде начинала первая.

В довершение ко всему стали замечать, что взаимоотношения Клавдии с бабкой Лушилихой даже перешли в некое подобие дружбы. Во всяком случае, теперь старуха, увидев идущую навстречу Клавдию, не спешила улизнуть в первую калитку, а, наоборот, торопилась к ней на своих ногах-тумбах:

– Доброго здоровьяца, Клава! А я уже соскучилась за тобой. Как раз сегодня собиралась зайти.

Никто не видел, чтобы Клавдия при этом тоже расцветала улыбкой, но и не замечали, чтобы она протестовала против таких словоизлияний. Чаще женщины видели, как потом Лушилиха, уцепившись за рукав Клавдии, провожала ее и они вместе скрывались за дверью ее дома. И все знали, что через час старуха непременно появится из калитки Клавдии с поросенком в мешке или же с ведром зерна, заработанного Клавдией в колхозе.

Казалось, только для того и старается она так на ферме, ухаживая за свиноматками и хряками, чтобы Лушилины на старости лет ни в чем не испытывали недостатка. Не из христианского же милосердия сменила Клавдия свой гнев против них на милость. Всем в хуторе было известно, что ни в справедливость Бога, ни в доброту его архангелов она не верила и вряд ли уже поверит. Разуверилась в них тогда, когда получила похоронную о муже. Батюшка из станицы решил навеститься по этому случаю к ней в дом, чтобы отслужить панихиду. Ни слова не говоря, Клавдия взяла его за рукав и вывела за калитку.

От ответов на вопросы, какими же все-таки средствами Лушилихе удалось разжалобить ее сердце, Клавдия уклонялась. И от насмешек по поводу ее страхов перед цыганами отговаривалась:

- Я ими с детства напуганная. Меня маленькую одна цыганка чудок не украла.
- Что-то раньше мы не примечали за тобой этой страсти, – говорили женщины.
- Нет, я всегда их боялась, – отвечала Клавдия.

Люди посмеивались и склонны были простить ей эту причуду. К тому же еще не выветрились у них из памяти рассказы, что цыгане любят воровать детей и потом учат их просить милостыню. А после гибели мужа на войне у Клавдии Пухляковой только и осталось всей радости в жизни – дети. Вот и не надышится на них и начинает метаться, прячет их, как наседка, едва лишь цыгане раскинут за хутором свои палатки. И хотя со временем ее дети-двойняшки уже превратились в парня и девушку и украсть кого-нибудь было бы не так-то просто, строжайший материнский запрет по-прежнему оставался в силе. Пока стояли шатры на бугре, они не смели отлучаться из дому.

Люди снисходительно посмеивались, по собственному опыту зная, что почти у каждого человека есть своя слабость.

Но, как это бывает, с тем, чего хотел бы избежать человек, жизнь и спешит познакомить его в первую очередь. После одного случая страхи Клавдии, над которыми она со временем уже не прочь была и сама посмеяться, вспыхнули с новой силой.

На попутной машине она из хутора, где жила, приехала в станицу, где находилось правление колхоза. Председатель уже третий месяц стороной объезжал свиноферму, и Клавдия решила сама нагрянуть к нему, чтобы окончательно выяснить, каким образом на коротком, всего восьмикилометровом, пути от амбара до фермы исчезает половина зерна и дерти. И как, по мнению Тимофея Ильича, свинари и свиноводы могут после этого отвечать за приплод и привес закрепленных за ними свиноматок и поросят?

Если не удастся сегодня же окончательно решить этот наболевший вопрос, Клавдия прямо из правления махнет без пересадки в район к прокурору. А там председатель хочет – пусть на мягком лимузине едет отчитываться, а хочет – пусть идет по дорожке пешком. Если он и дальше согласен смотреть на расхитителей сквозь пальцы, то другие уже насмотрелись, хватит. Не здесь, так в другом месте Клавдия выведет их на чистую воду.

С этим настроением она и поднималась по ступенькам в правление. Перед дверью с золоченой табличкой «Председатель колхоза» ее попыталась было задержать девушка-счетовод, вся накудрявленная, как новорожденный белый барашек.

- Тимофей Ильич занят. У него люди.

Но Клавдия так сверкнула на нее из-под надвинутого на лоб платка глазами, что девушка тут же махнула рукой:

- Проходите.

Клавдию здесь знали. Открыв дверь с табличкой, она убедилась, что девушка ее не обманула. В кабинете у председателя действительно были люди. Сам Тимофей Ильич сидел на своем месте в углу под большой картой земельных угодий колхоза, между тумбами письменного стола были видны его черные сапоги. Сбоку от него, опираясь растопыренными пальцами обеих рук о край стола и вкрадчивым движением подавшись к Тимофею Ильичу, стоял бухгалтер колхоза. Третьего человека в кабинете Клавдия не смогла угадать, потому что стоял он перед столом председателя спиной к двери. И вообще этот черноволосый мужчина в синем костюме был, кажется, ей незнаком. Она не помнила, чтобы у кого-нибудь из местных мужчин были такие же черные, до синевы, волосы. И голос этого человека, глуховатый, густой и как будто смягченный усталостью, она слышала впервые.

- Так не отдашь? – спрашивал он председателя колхоза.

Тимофей Ильич, откидываясь на спинку стула внушительным туловищем, в свою очередь спрашивал его:

– Мы с тобой этот обмен договором оформили?

– Оформили.

– Полюбовно?

– Полюбовно.

– Так что же ты теперь от меня хочешь?

Черноволосый махнул рукой:

– Договор – бумага. Через час кобыла пала.

При этих словах бухгалтер, не отрывая рук от края стола, с живостью извернулся в его сторону всем телом:

– Где?

– Как только доехали на ней до того хутора, что под бугром, она и легла.

Бухгалтер так и повернулся на каблуках вокруг своей оси и, обхватив живот руками, бросился к противоположной стене:

– Ой, ратуйте, люди добрые! В кои веки нашелся хороший человек: цыгана обманул!

– Я вижу, тут у вас не один жулик, – с презрением в глуховатом, мягком голосе сказал черноволосый мужчина.

Теперь Клавдия уже полностью догадалась, о чем шел разговор в кабинете у председателя. Она уже слышала об этой истории. Еще недели две назад кладовщик Федор Демин, отпуская ей обрат для поросят, с веселым хохотком рассказывал, как недавно отличился их председатель колхоза. Никому до этого не удавалось надуть цыган, а ему удалось. Цыгане разбили на станичном выгоне свои шатры и пришли к Тимофею Ильичу с предложением обменять полтысячи лопат на хорошую лошадь. У них, оказывается, одна лошадь только что пала в упряжке, а они кочевали на постоянное местожительство в соседний район, чтобы кузнечить там и работать конюхами в колхозе. Тимофей Ильич согласился и отдал им за лопаты ту самую кобылу, что зимой на Дону провалилась в прорубь. С той поры у нее стали чахнуть все внутренности, хотя по виду она оставалась все такой же исправной лошастью. Ее уже назначили под нож, когда подвернулись цыгане.

Тимофей Ильич договаривался с ними по всем правилам. Недоуздок передавал их главному цыгану честь по чести, из полы в полу. А как только цыгане отъехали от станицы, она возьми и грохнись об землю сразу со всех четырех ног...

И, недоумевая, почему это Клавдия не только не разделяет его веселья, а, совсем наоборот, как-то даже потускнела, кладовщик Федор Демин с сердцем сплюнул:

– Тю, дуреха! Да ты никак опять цыган испугалась?.. То-то, я вижу, вся изменилась с лица. Вот дура так дура, чисто малое дите. Да уже и малые дети их перестали бояться. Мой пацан как увидит шатры за станицей, так и торчит там с утра до вечера. Теперь не цыган надо бояться, а водородной бомбы! – И он опять захохотал, закрутил головой. – Нет, ты только подумай, самым цыганам сумел полумертвую кобылу всучить! А еще говорят и пишут в районной газете, что наш председатель – плохой хозяин.

Знала бы Клавдия, что ожидает ее за дверью с табличкой «Председатель колхоза», ни за что не пренебрегла бы предупреждением накудрявленной, как барашек, девушки и повернула бы от этой двери обратно. Но было поздно, она уже вошла в кабинет, уже и Тимофей Ильич успел ее заметить и кивком головы дал понять, что ей придется подождать, пока он освободится. При этом он не прерывал своего разговора с цыганом:

– Но-но, ты меня жуликом не величай, ищи жуликов где-нибудь в другом месте!

Бухгалтер ввернул:

– За это можно и статью припаять. Как за клевету.

– Что такое жулик? – глубокомысленно спросил председатель. И сам же ответил: – Это тот, кто для своей личной выгоды старается с другого человека семь шкур спустить. А я – не лично для себя – для колхоза беспокоюсь. Вон хоть у этой женщины спроси, она за колхоз кому угодно горло перервет. Как ты, Клавдия Петровна, считаешь?

Еще этого ей недоставало! Но и не могла же она согласиться с тем, с чем никогда не соглашалась в жизни.

– Если, Тимофей Ильич, по правде, то надо бы эти лопаты людям вернуть.

Черноволосый полуобернулся и бросил на нее через плечо взгляд. Она не могла его заметить, потому что отвечала, не поднимая глаз от пола. А Тимофей Ильич, услышав ее слова, поморщился. Не такого ответа ожидал он от Клавдии Пухляковой.

– Что такое, между прочим, правда? Это не что-нибудь вообще. Если для колхоза польза, то, значит, наша правда.

Горькое презрение и насмешка сплелись в словах цыгана:

– Ты что же, председатель, надеешься так свой колхоз поднять?

Тимофей Ильич встал за столом, выпрямился.

– Цыган меня марксизму учит?! А где ты был, борода, когда я эти штуки зарабатывал? – И с этими словами он распахнул свой пиджак.

Цыган подался вперед, с уважением всматриваясь в его награды:

– Молодец, не зря воевал. Где я был? Там же, председатель, где и ты.

И он спокойно отвернул обеими руками борта своего темно-синего пиджака, ослепив всех в комнате, в том числе и Клавдию, блеском целого, что называется, иконостаса орденов и медалей. Перед ними стыдливо потускнели медали председателя, потому что у цыгана было их неизмеримо больше и из них выступали два ордена: Красного Знамени и Славы.

Даже бухгалтер не удержался:

– Вот это ну!

А Тимофею Ильичу ничего другого не оставалось, как незаметно запахнуть пиджак, пряча более скромное серебро своих наград. Не скрывая восхищения, он вышел из-за стола, чтобы поближе рассмотреть награды на груди у цыгана:

– Так вот ты, оказывается, какой цыган! Где же ты их сразу столько заслужил?

Цыган сухо ответил:

– В разведке. Но это к делу не относится. У нас тут с тобой не вечер воспоминаний боевых друзей. Сперва отдай распоряжение, чтобы вернули лопаты, а потом уже спрашивай.

Тимофей Ильич положил руку ему на плечо.

– Погоди, с этим всегда успеется. Ты, оказывается, грамотный парень, и язык у тебя неплохо подвешен. А все-таки не можешь обуздать свою кровь. Я все же постарше тебя и по возрасту, и по своему званию старшего сержанта, а ты на меня здесь кричишь и в присутствии других людей подрываешь мой авторитет. В нашем колхозе и без тебя есть кому на председателя кричать. – И Тимофей Ильич чуть заметно повел бровью в сторону двери, где стояла Клавдия Пухлякова.

Спокойным движением цыган снял его руку со своего плеча:

– Я на тебя не кричу, а вот ты здесь действительно кричал. Если ты и с другими людьми так обращаешься, то это еще хорошо, что никто из них тебя не побил. И наши воинские звания мы тоже не будем здесь разбирать. Не место.

С беспокойством в голосе Тимофей Ильич спросил:

– Что ты хочешь этим сказать? Если уж начал говорить, договаривай.

Все в колхозе знали, что Тимофей Ильич не лишен был тщеславия и гордился, что на фронте от рядового дослужился до старшины. Должность хотя и не высокая, но без пяти минут офицер.

Все так же спокойно цыган ответил:

– Ничего такого я не хочу сказать. Старший сержант – хорошее звание. Но есть и другие.

– Например?

– Например, лейтенант.

– Уж не хочешь ли ты сказать, что среди цыган тоже бывают лейтенанты?

– Кто знает, может, и бывают.

– Ну уж это ты врешь, – с уверенностью заявил председатель. – Ордена и медали еще можно личным героизмом заслужить, а чтобы лейтенанта заработать – для этого одного героизма мало. Тут надо, брат, и образование иметь или по крайней мере талант. Для этого надо не цыганскую голову на плечах иметь.

Совсем тихим голосом цыган поинтересовался:

– Почему же? У цыгана голова тоже круглая.

– Это ты мне не объясняй. Дружба народов, знаю... Не о том речь. У цыгана в голове всю жизнь только и было, как бы половчее честного человека обмануть, а этой одной науки на войне, как ты сам должен знать, еще мало. В разведке эта наука, понятно, еще могла тебе службу сослужить и даже помочь заработать один-два ордена, а вот чтобы в бою командовать – тут совсем другая наука нужна.

И Тимофей Ильич ушел на свое место за стол, довольный, что ему наконец удалось подобрать подходящее объяснение, почему наградам цыгана посчастливилось несколько притушить блеск его медалей. Из-за стола он насмешливо-победоносно поглядывал на цыгана и на бухгалтера.

Бухгалтер не замедлил оценить его находчивость.

– Да, это тебе не у наковальни плясать.

– И не присваивать чужое, – в тон ему добавил цыган.

– Но-но! – угрожающе повысил голос бухгалтер.

Цыган на него и внимания не обратил. Он обращался к председателю:

– Один раз ты уже ошибся. А что будет, если ошибешься и второй раз?

Переглядываясь с бухгалтером, председатель пообещал:

– Если я совершу эту ошибку, то вот тебе мое слово: прикажу заплатить деньгами за твои лопаты – и дело с концом.

Цыган покачал головой:

– Одного твоего слова мало.

Тимофей Ильич искренне возмутился:

– Отказываешься верить председателю колхоза?

– Ему-то я верю, да вдруг он опять скажет, что для пользы колхоза не запрещается и обмануть?

– Этого я не говорил. Я говорил по-другому. Ну если мало тебе моего честного слова, то можно и при свидетелях. Вот тебе уже свидетель номер один. – Тимофей Ильич повел рукой в сторону бухгалтера. – Подходит?

– Нет! – кратко сказал цыган.

– А... Ну, если не хочешь, то вот тебе другой свидетель. – И председатель повел рукой в сторону Клавдии.

– Если эта женщина согласится, то тогда и я, пожалуй, согласен.

И, поворачиваясь, цыган в упор взглянул на Клавдию. До этого она не видела его лица. Разговаривая с председателем, он стоял к ней спиной и только иногда немного поворачивался так, что она видела его острую кудрявую бородку.

Теперь же она встретила с его взглядом. И Клавдии вдруг показалось, что он заглянул своими ярко-черными глазами прямо ей в душу.

– Слышишь, Пухлякова, эта борода пожелал тебя свидетельницей иметь, – насмешливо сказал Тимофей Ильич. – Нам он, получается, не доверяет, а вот ты ему, должно быть, приглянулась. Чем-то ты ему понравилась. Постой, куда же ты?! – закричал он, привставая со стула. Но Клавдия уже не слышала.

Она не помнила, как открыла дверь и мимо удивленной девушки-счетовода бросилась вниз по ступенькам правления. Накудрявленная девушка и другие сотрудники бухгалтерии прилипли к окнам. Еще никто не видел, чтобы Клавдия Пухлякова ретировалась из кабинета председателя колхоза подобным способом. Обычно всегда он, едва заметив ее мелькнувший в окне силуэт, через другой ход уходил на задний двор и отсиживался там в гараже до той минуты, пока шофер не возвращался из разведки с известием, что гроза в образе этой женщины прошла и скрылась за станицей, за холмами.

Опомнилась Клавдия и смогла взглянуть на свое поведение как бы со стороны уже на береговой тропинке, натеренной сквозь заросли репейника вдоль Дона из станицы в хутор. Почему-то она избрала не верхнюю гаревую дорогу, где ее за четверть часа могла подвезти домой любая попутная машина, а эту глухую пешеходную стежку. Сбежала со станичного кругогорья, как от погони.

И вообще это ее бегство из кабинета председателя должно было показаться всем людям до крайности нелепым. Клавдия вспомнила, как округлились изумрудные глаза на личике у этой девочки. Страшно должен был удивиться и сам председатель, который, конечно, при появлении Клавдии в правлении не мог не догадаться, что неспроста она проделала сегодня свой путь из хутора в станицу.

И вот теперь она неизвестно почему возвращается в хутор, не раскрыв даже рта для разговора, к которому готовилась не один день. Что она скажет на ферме другим свинарям и свиноваркам? Скажет, что зерно и дерть так по-прежнему и будут уплывать налево?

И чего она так испугалась? Неужели она всю свою жизнь так и будет бояться цыган и каждый из них всегда будет внушать ей панический страх, будто он непременно должен принести ей несчастье, что-нибудь над ней сделать или же что-то у нее отнять? Глупые детские страхи! И этот цыган совсем не такой страшный. Даже наоборот, он довольно красивый мужчина, с добрыми, словно бы чем-то опечаленными глазами. И с Тимофеем Ильичом он разговаривал рассудительно, ни разу не повысив голоса. Между тем у него были все основания повысить голос и даже стукнуть кулаком по столу. На его месте Клавдия так бы и поступила. Обидели человека да еще и насмеются. Особенно бухгалтер, который так все время и вьется вокруг председателя, как уж, так и нашептывает ему на ухо, что похитрее сказать да как погаже ответить.

А ведь Клавдия очень хорошо знала, что нужно сказать этому бухгалтеру про дерть и зерно, чтобы он еще побыстрее завертелся, как настоящий уж, когда ему наступят на хвост каблуком. Знала, что ему сказать, и собиралась сделать это сегодня в присутствии председателя – и не сказала. Вместо этого убегает прочь по тропинке вдоль Дона. Еще немного – и сердце, разорвав кофту, выскочит наружу.

Успокаиваясь, она пошла медленнее, подставляя лицо и грудь ветру, тянувшему из-за Дона. Узкая тропинка исчезала впереди в кустах репейника, появляясь из них на пригорках. Жесткие, уже затвердевающие к осени репы кусали ей ноги.

Мягкий, предупреждающий звонок велосипеда за спиной заставил ее сойти с тропинки. Велосипедист в развевающемся от ветра пиджаке быстро промчался мимо нее и, проехав еще немного вперед, вдруг остановился. Соскакивая с велосипеда и придерживая его за руль, он повернул к Клавдии голову с черной кудрявой бородкой, и она сразу же узнала того цыгана. Она оказалась наедине с ним. Ни впереди, ни позади на тропинке никого не было.

Описав полукруг прямо по кустам репейника, он подошел к Клавдии и сказал, протягивая руку:

– Это вы? А председатель потом вас искал. Спасибо, что хоть вы заступились. Будем знакомы, меня зовут Будулаем.

Еще в кабинете у председателя Клавдия обратила внимание, что говорит он по-русски совсем чисто. Странно, что теперь, вблизи от него, она не испытывала никакого страха. Он дружелюбно смотрел на нее и улыбался, обнажая ослепительно-белые зубы. Ничего пугающего не было в его лице, не портила его и эта небольшая бородка. Что ж поделаешь, если эти люди все еще не могут отвыкнуть носить бороды. Значит, такой у них обычай.

И все же от растерянности она ничего не сказала ему в ответ, не назвала даже своего имени, а только позволила ему пожать руку. Его рукопожатие было бережным и коротким.

– Но все-таки и ваше заступничество не помогло, – не столько с обидой, сколько с веселым огорчением сказал он, не замечая растерянности Клавдии. – Отказался от своего честного слова и после того, как заставил меня показать ему свой военный билет. Ну хорош у вас председатель! Не хотелось, а, видно, придется пожаловаться на него в райком. Вы мне не скажете, сколько еще осталось до райцентра?

– Через наш хутор проедете, а там, мы считаем, не больше шести километров, – обретая дар речи, ответила Клавдия.

– Спасибо. До свидания.

И, вскочив на велосипед, вскоре скрылся за первым поворотом тропинки, оставив ее наедине с запоздалым раскаянием, что она так холодно обошлась с этим человеком. Не растолковала даже ему как следует, что ехать до районной станицы все время нужно низом, по-над виноградными садами, и никуда не сворачивать, еле выдавила из себя два слова... А он ничем не заслужил подобного обращения. И в правлении разговаривал с председателем культурно, за справедливость стоял и здесь не стал набиваться на более близкое знакомство с Клавдией, а только вежливо поблагодарил ее, спросил о дороге и уехал.

Так что ж, что он цыган? И наружностью он ничуть не хуже других мужчин. Ему даже идет эта, конечно, непривычная для Клавдии бородка. Ей давно уже пора отбросить все свои никчемные страхи.

И впоследствии она вспоминала об этой встрече не иначе как с угрызениями совести. Впрочем, вскоре она, вероятно, и совсем бы забыла о своем мимолетном знакомстве с цыганом, если бы ей не напомнила Луцилиха.

Как всегда, она наведлась к Клавдии вечером того дня, когда лучшим свинарям и сви-наркам на ферме выдавали в порядке дополнительной оплаты поросят. Привезла Клавдия и на этот раз из-за Дона, куда на лето переправляли из хутора свиней, месячного поросенка.

– Я, Клавочка, за тобой просто ужас как соскучилась! – переступая порог, говорила Луцилиха. – Ты, считай, там, за Доном, целое лето как в ссылке живешь, все Америку догоняешь... А нонче слышу, на вашем краю хутора поросенок визжит. Значит, думаю, наша передовая колхозница теперь дома. Дай, думаю, хоть одним глазочком взгляну на нее. – Она по-родственному звонко расцеловала Клавдию в обе щеки. – А у меня для тебя, Клавочка, новостей, новостей!..

И, усаживаясь без приглашения, закрывая широкой сборчатой юбкой табурет, она не постарушечьи зоркими глазами вглядывалась, какое впечатление произведут ее новости на Клавдию. Бабка Луцилиха не сомневалась, что Клавдия не сможет остаться к ним равнодушной.

Еще бы остаться! По точным сведениям, принесенным Луцилихой, тот самый цыган, которого так ловко обманул председатель колхоза, оказался не таким-то простым цыганом. Из правления он нашел дорогу прямо в райком, и на другой же день туда вызвали Тимофея Ильича. Луцилиха имела сведения об этом от двоюродного племянника, что возил на

«Победе» самого секретаря райкома. Вчера племянник попутно заехал к ней порожняком на полчаса, она угостила его ладанным вином, и он разговорился. Прогостевал не полчаса, а целых два.

К тому часу, когда председателя колхоза вызвали в райком, племянник Лушилихи как раз зашел к секретарю райкома Ивану Дмитриевичу Еремину узнать, поедут они сегодня после обеда в командировку по колхозам района или нет, и все, что происходило в кабинете у секретаря, видел своими глазами. В ожидании, когда Иван Дмитриевич освободится, присел на уголок дивана и весь его разговор с Тимофеем Ильичом и с цыганом слушал слово в слово.

Когда председатель колхоза Тимофей Ильич Ермаков вошел к секретарю райкома, у того в кабинете уже был цыган. Нашлись добрые люди, указали ему дорогу прямо в райком. Увидев цыгана у секретаря, председатель сразу потускнел и небрежно буркнул:

– А, это ты, борода...

Цыган промолчал, сидя сбоку письменного стола секретаря райкома на стуле.

Секретарь Иван Дмитриевич Еремин встретил председателя с улыбкой, вышел из-за стола, протянул руку.

– Давненько, Тимофей Ильич, не виделись... А вы разве не знакомы? – с удивлением спросил он, указывая глазами на цыгана.

Пришлось председателю подать руку и цыгану:

– Немного.

Цыган ничего, пожал ему руку. Тогда секретарь потушил на лице улыбку и сразу же огоршил председателя:

– Ну а если знакомы, то тогда и совсем хорошо. Как ты, Тимофей Ильич, располагаешь: лопаты вернуть или же деньгами за них расплатиться?

Тимофей Ильич коротко взглянул на цыгана и покраснел так, что наголо побритая голова у него стала как бурлак.

– Вы, Иван Дмитриевич, должно быть, не совсем в курсе. – И он тут же подошел к большой карте, занимавшей всю стену в кабинете у секретаря райкома. – Вот нашего колхоза земля. Она, эта несчастная кобыла, где упала? У кургана? – не оборачиваясь, через плечо спросил он у цыгана.

Подошел к карте и цыган. Все трое остановились у стены.

– Нет, она только стала проходить мимо него и легла.

Тимофей Ильич обрадованно переспросил:

– Ты этот факт лично подтверждаешь?

– Лично, – спокойно ответил цыган.

– Ну, тогда тебе и никакой райком не сможет помочь. Как это поется: «Понапрасну, Ваня, ходишь, понапрасну ножки бьешь...»

Тут секретарь райкома перебил председателя:

– Почему?

– Да потому, что, дорогой Иван Дмитриевич, до Володина кургана, как вы знаете, нашего колхоза земля, а за курганом – уже «Труженика». Раз она, перейдя этот курган, упала, мы за нее уже не ответчики. Вот если бы она на нашей земле пожелала упасть, тогда бы другое дело.

И он уже взялся за свою соломенную шляпу, но секретарь тихонько придержал его за локоть:

– Не спеши, Тимофей Ильич. Давай теперь послушаем, что скажет твой приятель.

– Черт ему приятель! – поворачиваясь к цыгану боком, отрезал Тимофей Ильич, за что секретарь райкома тут же наградил его сердитым взглядом.

Он легонько взял Тимофея Ильича обеими руками за плечи и повернул к цыгану лицом. Тот пояснил:

– Зашаталась она, еще не доходя кургана. Когда она в оглоблях мимо него шла, она, считай, уже была мертвая.

Наголо бритая голова председателя опять стала красной.

– Ты что, ветеринарный доктор, чтобы точно знать, живая она была тогда или мертвая? Факт, что упала после кургана.

– Нет, она его не перешла. Прямо перед ним и легла. Здесь.

И, взяв из стаканчика на столе толстый карандаш, цыган твердо указал это место на карте. Тимофей Ильич немедленно вырвал у него из руки карандаш.

– И это еще не все. Здесь еще межевой столб есть. Полосатый.

– У столба и упала, – сказал цыган. – При свидетелях. Там электрики линию тянули.

– А куда она головой легла? – прищуривая глаз, спросил председатель.

Цыган взял на столе из стаканчика другой, синий, карандаш, показал:

– Вот сюда!

На этот раз Тимофей Ильич и шляпу успел надеть.

– Опять, стало быть, на земле «Труженика».

Цыган засмеялся, открывая все свои зубы:

– Должно быть, она перед смертью с тобой посоветовалась, куда ей лучше упасть.

Не обращая на его слова никакого внимания, Тимофей Ильич только плечами пожал и протянул руку секретарю:

– Вот видите, Иван Дмитриевич, теперь вы полностью в курсе.

Но секретарь райкома как будто не заметил его протянутой руки и сказал совсем официально, уходя от карты в угол, за свой стол:

– Стыдитесь, товарищ Ермаков! Так или иначе, придется вам эти лопаты вернуть.

Председатель как стоял, так, не сняв шляпы, и опустился на стул.

– А чем же, разрешите, Иван Дмитриевич, узнать, мы будем на зиму виноградные лозы зарывать?

Секретарь развел руками:

– Вот этого не знаю. Но, конечно, за несвоевременную укрывку лоз мы в первую очередь будем спрашивать с вас. Вот, если хотите, договаривайтесь с ним. Может быть, товарищ согласится и деньгами взять.

Цыган отозвался:

– Полюбовно все можно.

Тимофей Ильич даже руки к небу воздел:

– Да ты понимаешь, чертов сын, что без акта о причине смерти этой проклятой кобылы я не имею права?! Она у меня значит на балансе как живая.

Цыган вытащил из нагрудного кармана пиджака бумагу:

– Акт есть.

Тимофей Ильич прочитал акт и заметно повеселел:

– Все по форме. Ты действительно грамотный, цыган. А шкуру сняли? Вы еще должны нам шкуру вернуть.

– Сняли и шкуру. Вернем, – успокоил его цыган.

Тогда председатель совсем развеселился:

– В самом деле ты, цыган, с головой... Первый раз такого встречаю. Сейчас, так и быть, напишу бухгалтеру, за эти проклятые лопаты деньги получишь. И стоило тебе из-за них в райком ходить, человека от государственных дел отрывать! Нет, ты, оказывается, хозяйственный цыган. В заместители ко мне не пойдешь? Мне как раз заместитель нужен.

– Не пойду.

– Почему?

– Боюсь, не сработаемся.

– Вот это ты напрасно, – подписывая распоряжение бухгалтеру, сказал Тимофей Ильич. – Я человек незлопамятный. И ты мне понравился. У нас колхоз хороший, скоро виноград в садах срежем, вина надавим. – И, отдавая бумагу цыгану, он засмеялся: – На, крепче держи! Ветер выхватит.

Засмеялся и цыган, опять показывая все зубы:

– У меня не выхватит!

Секретарь райкома Иван Дмитриевич Еремин смотрел на них из-за своего большого стола под зеленым сукном и тоже улыбался.

Наслаждаясь тем впечатлением, которое произвел ее рассказ на Клавдию, бабка Луцилиха сложила на груди руки и поджала губы, всем своим видом показывая, что это всего-навсего цветики в сравнении с тем, что еще ей известно. Самую главную новость она прибегла напоследок, и Клавдии еще предстоит по достоинству оценить ее осведомленность. Она хотела выждать время, чтобы возбудить любопытство Клавдии, но не выдержала, придвинулась к ней вместе с табуретом.

– Будто и грамотный оказался этот цыган, а с какой-то придурью. От хорошей должности отказался и тут же попросился простым кузнецом в наш хутор. Чем-то, значит, понравился ему наш хутор. – Луцилиха придвинулась вместе с табуретом к Клавдии еще ближе и, оглядываясь на окна, перешла на полусшепот: – А знаешь, Клава, чем понравился? Мой племянник слышал, как он рассказывал потом секретарю райкома и нашему председателю, будто где-то в этих местах его жену немецкие танки раздавили, и теперь он нашел тут ее могилу. А сейчас, когда я проходила балочкой мимо нашей кузни, с нее замок уже снятый, и мальчишки туда сбежались со всего хутора. Я там и твоего Ваню видела.

Теперь она имела право в полной мере насладиться тем впечатлением, которое не замедлило отразиться на лице Клавдии. Впечатление было настолько сильным, что это не на шутку обеспокоило старуху:

– Да что с тобой, Клавочка, на тебе лица нет! Ты, случаем, не заболела? Там, за Доном, от этих проклятых комарей в два счета можно лихоманку схватить.

– Нет, ничего, я не больная, – каким-то сдавленным голосом отвечала Клавдия. Она провела ладонью по шее. – Ты, бабушка, возьми там во дворе, в катухе, поросенка и, пожалуйста, уходи. Я прошлую ночь что-то плохо спала, мне сегодня раньше лечь нужно.

– Ложись, милая, ложись! А за поросеночка спасибо. То-то мой дедушка возрадуется. Ах ты господи! – Луцилиха взмахнула широченными рукавами кофты. – А мешок-то я, старая, и забыла. Ты мне, Клавочка, разрешишь твой взять?

Клавдия разрешила:

– Возьми в сенцах.

Вечером, когда пришел с улицы сын, Клавдия спросила у него:

– Ваня, где ты сегодня задержался так поздно? И рубашка у тебя в каком-то мазуте.

– Это не мазут, мама. Это мы с ребятами помогали новому кузнецу горн устанавливать, – ответил Ваня.

– Тебе незачем туда ходить, – сказала Клавдия.

Он повернул к ней черноглазое лицо:

– Почему?

– Нечего тебе там делать.

– Мне, мама, уже шестнадцать лет, я не маленький. Надо мной и так ребята смеялись: «Смотри, как бы цыган тебя в мешок не посадил!»

– Глупые, потому и смеются. Если ты не хочешь с матерью поссориться, не ходи больше туда.

- Небось Нюрке ты не запрещаешь!
- Нюра туда и сама не пойдет: она девочка.

Прошло около года. За это время в Дону между суглинистыми ярами много воды утекло. Волнение, вызванное тем, что в хуторе поселился цыган, постепенно улеглось. К Будулаю стали привыкать, тем более что он от раннего утра до позднего вечера напоминал о своем существовании то веселыми, то жалобными, то редкими и тягучими всплесками металла, разносящимися из балки. Ожила хуторская кузница. Теперь замок на ней появлялся только к вечеру, а все остальное время дня ее двери были распахнуты настежь, и скользкими отблесками освещало высокую черную фигуру с рукой, поднятой к рычагу кузнечного меха. Из окон хуторских домиков, разбросавшихся по склонам придонских бугров, было видно, как светятся двери кузницы.

Поселился Будулай у самого Дона, во флигельке, отведенном ему правлением колхоза, и что он там делал один по вечерам, было неизвестно. Готовил пищу себе сам, обученный этому, как догадывались, своей прошлой цыганской и солдатской жизнью. Чему только не научит человека дорога и война! Иногда, чаще всего на восходе или на закате солнца, видели его за хутором в степи, у одинокой могилы, где была похоронена людьми погибшая под гусеницами немецкого танка цыганка. Со своей кибиткой она отстала во время отступления от табора, кочевавшего в потоке других беженцев за Волгу, и здесь ее настигли танки.

Хуторские женщины жалели Будулая и, когда он, спускаясь из степи, проходил по улице к Дону, переговаривались во дворах, что он совсем еще не старый и довольно симпатичной наружности, даже, можно сказать, красивый цыган. Женщин особенно располагало к Будулаю, что он, проходя мимо, никогда не забывал поздороваться, не так, как иные мужчины.

Уже и ребятишки не дежурили дни напролет у дверей кузницы. Острота нового ощущения прошла. И только Клавдию Пухлякову женщины, переезжая из хутора за Дон поливать и пропалывать огороды, спешили обрадовать:

– Твой Ванька к этому Будулаю, должно, в подмастерья записался. То, бывало, целыми днями в двери кузни заглядывал, а сейчас его цыган уже и в кузню допустил. Когда ни пройди мимо, он там. Уже и сам что-то потюкивает молотком. И чего ты, дурная, пугаешься?! Ты же знаешь, какие цыгане кузнецы. Погоди, этот Будулай еще из твоего Ваньки мастера сделает! Будет мать кормить.

Что могла ответить на это Клавдия? Если бы она в летние месяцы находилась не за Доном, а в хуторе, она имела бы возможность присмотреть за сыном и удостовериться, как он держит слово, данное матери, – не ходить в кузню. Как-то, приехав в хутор, она еще раз заговорила с Ваней об этом и, убедившись, что он уклончиво отвечает на ее вопросы, больше к нему не приступала. В конце концов, он уже вышел из того возраста, когда она водила его за ручку.

Однажды председатель колхоза, побывав за Доном на свинарнике, заехал в хутор, нашел в кузнице Будулая и предложил ему съездить за Дон и своими глазами посмотреть, как сделать, чтобы хряки не разбивали ворота загонов.

– Грызут, проклятые, дерево, как солому! Каждую неделю приходится дверцы менять, не настачишься. Посмотри, может, лучше их раз и навсегда железом оковать. Пусть тогда точат свои клыки сколько влезет. Да не забудь смерок снять... А это у тебя что за паренек? – поинтересовался председатель, разглядев в полумгле кузницы тоненькую фигурку полуголого мальчика.

Раздетый до пояса, он раздувал огонь в горне. Смуглая, покрытая кузнечной копотью кожа мальчика вспотела и лоснилась. Два глаза светились из темноты почти с такой же яркостью, как и раскаленные угли.

- Это Клавдии Петровны Пухляковой сын, – ответил Будулай.

При этом имени легкая судорога пробежала по лицу председателя. Всего час назад за Доном ему пришлось выдержать очередную атаку этой женщины, и еще так свежо было воспоминание, как она честила его в присутствии других свинарей и свинок за то, что до сих пор никто не догадается обить дверцы в загоне у хряков железом. После этого председатель и поспешил прямо к Будулаю. Потому-то столь неуместным показалось ему теперь лишнее напоминание об этой женщине. Встречаясь со взглядом сына Клавдии, председатель заключил, что и глаза у него сверкают точь-в-точь как у матери.

– Сколько ему лет?

– Шестнадцать, – сказал Будулай.

– Нарушение кодекса законов о труде. Ты знаешь, что подросткам работа на вредном производстве категорически запрещена? – начал было выговаривать Будулая председатель, но его перебил смелый голос мальчика:

– Через месяц, двадцать пятого июля, мне уже исполнится семнадцать.

– А тебя никто не спрашивает! – круто оборвал его председатель. – Твое дело телячье.

Не хватало, чтобы его стал учить уму-разуму еще и сынок той самой Клавдии, которая только что публично поучала его за Доном! Если так всех распустить, то скоро и грудные младенцы начнут ему указывать, как руководить колхозом.

– Короче, езжай завтра же и сними там смерок, – бросил председатель Будулая. И, обращаясь к мальчику, но глядя не на него, а в сторону, добавил: – А ты с завтрашнего дня пойдешь в бригаду на прицеп. У нас в поле не хватает прицепщиков. Сюда я пришлю настоящего молотобойца.

И он повернулся к выходу, заслоняя спиной дверь кузницы. На секунду в кузнице стало темно.

– Дяденька председатель, пожалуйста, не отсылайте меня из кузни!

Вслед за этим и Будулай успел вернуть столь несвойственным ему просительным тоном:

– Не стоит, Тимофей Ильич, обижать мальчика. Он и так бежит сюда тайком от матери. Она почему-то ему запрещает. А мальчик смывленный. – Будулай положил руку на мягкую, как мерлушек, голову Вани. – Все на лету схватывает. Если он еще тут год покрутится, из него может настоящий кузнец получиться. А двери на свинарнике, Тимофей Ильич, я сделаю такие, что их из пушки не разобьешь. В этом не сомневайтесь.

Председатель колхоза Тимофей Ильич, в сущности, не был жестокосердным человеком. Не будет ли похоже, что он сводит счеты с мальчиком из-за того, что не поладил с его матерью? Оказывается, и ему приходится с нею воевать. Вот невозможная женщина – и родному сыну нет от нее жизни! Теперь же может получиться, что в этой войне из-за кузни она приобретет еще и такого могучего союзника, как он, председатель. Нет, этому не бывать! А если мальчонка и в самом деле способный? Хорошие кузнецы колхозу всегда будут нужны. К тому же Тимофей Ильич не выносил детских слез, а в голосе у этого мальчугана, когда он крикнул ему вдогонку «дяденька», явственно зазвенели слезы. У Тимофея Ильича были свои дети.

Не оборачиваясь, он бросил:

– Ну, как знаете.

И вышел из кузни.

Продолжая держать руку на голове мальчика, Будулай спросил:

– Когда ты, Ваня, говоришь, тебе исполнится семнадцать?

– Двадцать пятого июля, теперь уже меньше чем через месяц. – И мальчик пояснил просто: – Нас с Нюркой мамка в кукурузе родила. Она там с женщинами от немцев спасалась. Она увидела, как немецкий танк цыганскую кибитку раздавил, и тут же нас родила.

И, внезапно ощутив, как задрожала у него на голове рука Будулая, мальчик с удивлением поднял глаза. Будулай отвернул лицо и тихонько снял с черного кудрявого гнезда его волос свою большую руку.

Выполняя распоряжение председателя, Будулай поехал за Дон. Первым человеком, которого он там встретил, была Клавдия. Он переправился на лодке и шел по тропинке среди деревьев к свинарнику, а она с двумя порожними ведрами шла по тропинке к Дону.

Будулай увидел ее раньше, чем она успела его увидеть. Редко можно наблюдать человека со стороны, когда он, думая, что остался наедине с самим собой, ведет себя так, как он никогда не повел бы себя в присутствии людей. Будулаю довелось увидеть Клавдию именно в такую минуту. Она шла по тропинке, выходящей под вербами к воде.

Она не сразу увидела Будулая, потому что шла низко наклонив голову, как будто внимательно рассматривала что-то у себя под ногами. Шла медленно, о чем-то думая. То ли тень этой задумчивости, то ли трепещущие тени леса окутывали ее лицо дымкой. Ей шел этот белый халат, который Будулай видел на ней впервые. Ее лицо как-то смягчилось. С этим новым выражением на лице она вдруг показалась ему совсем молодой и почему-то беззащитной. Он очень хотел бы узнать, о чем она могла думать, отодвигая заслонявшие дорогу ветки.

Чтобы нечаянно не спугнуть этого ее настроения, он осторожно отступил с тропинки в сторону, за ствол старой вербы. И надо же было случиться, чтобы, проходя мимо этой вербы, Клавдия подняла затуманенные глаза. Внезапно увидев его, она уронила ведра:

– Ой!

Всего второй раз они встречались – и каждый раз на глухой тропинке.

– Неужели я такой страшный? – выступая из своего укрытия, с укоризной спросил Будулай. – Почему вы меня боитесь?

– Я вас не боюсь, – ответила Клавдия. Она и в самом деле сейчас его не боялась. Она вскрикнула от неожиданности.

– Значит, это мне показалось, – с облегчением сказал Будулай. Он достал и подал ей скатившиеся с дорожки под куст ведра. – Я давно хотел у вас спросить... – Его глуховатый голос стал еще глуше, и черные глаза как бы подернулись лаком. – Вы, говорят, видели, как за хутором немецкий танк наехал на цыганскую кибитку. Вы не помните, кто там был, возле этой кибитки?

Не поднимая глаз, Клавдия ответила:

– Там были старик и молодая цыганка. – И она поспешно добавила: – Но больше я ничего не могла видеть...

– Я знаю, – сказал он с сочувственной, понимающей улыбкой. – И еще я хотел бы вас просить, чтобы вы не запрещали вашему сыну Ване приходить в кузню. Он у вас очень способный и может научиться чему-нибудь хорошему.

И так же, как в первый раз, не задерживая больше Клавдию, он с полупоклоном обошел ее стороной и пошел по тропинке.

Приезжему человеку всегда не так-то просто бывает заручиться доверием у людей в новом, незнакомом для него месте, к тому же заручиться доверием у крестьян, которые никогда не спешат открывать кому-нибудь душу. Прежде нужно не одно поле вместе вспахать и не один, как говорится, пуд соли съесть.

Тем труднее бывает обживаться новому человеку среди придирчивых и острых на язык казаков, да к тому же если человек этот цыган. В каждом цыгане они по издавна укоренившемуся убеждению прежде всего склонны были видеть бродягу и лодыря. Конечно, способствовали подобной репутации и сами цыгане.

И если Будулая вскоре стали считать в этом казачьем хуторе своим человеком, то лишь потому, что люди так же безошибочно умеют распознавать в человеке трудягу, мастера своего дела. Ожила старая кузница в балке. Когда на ее дверях висел замок, будто бы и не очень заметно было отсутствие в хуторе кузнеца, а теперь, когда с утра до вечера растекались из балки перезвоны, стали натаптывать сюда дорожки и от молочнотоварной фермы, и из колхозных виноградных садов, и с полевого стана. Весь день тянулись по этим тропинкам люди. Несли,

конечно, в кузницу не что-нибудь крупное, а чаще всего лопаты, тяпки, железные грабли и разные шкворни. На первый взгляд не очень существенную и тем не менее незаменимую в большом хозяйстве мелочь.

Не станет же, понятно, колхоз сдавать на ремонт в хуторскую кузницу, где едва могут повернуться кузнец с подручным, тракторные плуги, которые скорее и проще отремонтировать в новой большой мастерской в станице! Не было в кузнице у Будулая и приспособлений для отковки осей и валов с тракторов и автомашин, не было прессов и станков для обточки и расточки.

Зато закалить Будулай умел и в своей маленькой кузнице какого угодно размера деталь. И закалить так, как не умели это сделать и в большой мастерской. Отец передал ему этот секрет сверхпрочного закаливания металла, унаследованный им в свою очередь от своего отца, тоже кузнеца. И даже сам главный механик из мастерской, инженер, обращался к Будулаю за консультацией по этому вопросу. Тут, оказалось, одних инженерных знаний было недостаточно.

Пробовал Будулай передать свой секрет закалки металла другим кузнецам, не отказывал повозиться с ними, когда его просил об этом главный механик, но так ничего из этого и не получилось. Вот, казалось бы, и совсем уже постиг человек, спроси у него, он наизусть расскажет, что с деталью нужно делать сначала и что потом, а начнет это делать сам – и где-то обязательно ошибется. Даст промашку на самую малость, сделает почти что так – и все же не так. А без этого «почти» и нельзя. Без «почти» ось или вал получаются либо мягкими, как воск, либо хрупкими, как рафинад. В «почти», оказывается, и вся загвоздка. В этом и есть талант. А талант, должно быть, содержится у человека в крови, и, вероятно, только с кровью можно перелить его в жилы другого человека.

И все-таки Будулай не терял надежды, что в конце концов удастся ему передать свои знания кузнечного мастера кому-нибудь другому. Не уносить же их с собой в могилу! Раньше надеялся он, что сумеет передать их своему сыну. Когда ранней весной в степи, под пологом шатра, его жена Галя объявила ему, что у нее под сердцем затрепетал огонек новой жизни, Будулай так сразу и рассудил, что это может быть только сын. В их роду кузнецов все первенцы были сыновьями. А как же могло быть иначе?! Иначе некому было бы передавать из рук в руки щипцы, молотки и прочие орудия кузнечного ремесла.

С этой глубочайшей уверенностью Будулай и на войну уходил, застигнутый посреди степи в шатре верхоконным милиционером с повесткой из ближайшего сельсовета. И, расставаясь в тот день с Галей среди холмов, пуще всего просил ее сберечь к его возвращению с фронта сына, а для этого не мешкая уходить в своей кибитке вместе с потоком беженцев туда, откуда встает солнце, в заволжские степи. «Я вас там найду, цыган цыгану всегда дорогу укажет», – говорил Будулай, прощаясь с Галей, с великим трудом размыкая ее руки, петлей захлестнувшиеся вокруг его шеи.

Не оглядываясь, он поскакал на своем коне вслед за милиционером, не видя и того, как рухнула Галя на колени, протягивая вдогонку ему руки, и как потом каталась растрепанной головой по золе потухшего костра, а старый глухой отец с серьгой в ухе склонился над ней с бутылкой воды.

И потом, на войне, совершая по ее дорогам и бездорожью весь долгий переход с казаками Донского кавалерийского корпуса от Терека до Австрийских Альп, покачиваясь в жестком седле, ерзая по-пластунски животом по снегу, по траве и по кремнистой почве трансильванских предгорий, бодрствуя в разведке, засыпая у огня, у коновязей и отдирая от пробитой осколком груди бинты в госпитале, все время жил Будулай в ожидании того часа, когда наконец возьмет он за смуглую ручонку первенца, которого он и Галя договорились назвать хорошим русским именем Ваня, впервые подведет его к наковальне и очарует его взор сиянием искр, брызжущих из-под кувалды. С той секунды и должно будет начаться посвящение его сына в тайны древнего ремесла деда, прадеда и пращура.

Твердо верил Будулай, что удастся ему сделать из Вани не только кузнеца, умеющего превратить кусок железа в подкову, в зуб бороны, в буравчик и в клещи, которые можно сбыть в воскресный день на базаре, но и такого, что однажды снимет перед отцом картуз, бросит его на землю и скажет: «Спасибо, батя, за науку, но с меня хватит. Теперь я у тебя уже ничему не смогу научиться. Дальше и я пойду учиться на инженера-механика».

Вот какие мысли роились в голове Будулая, когда он слышал вокруг на фронте разговоры однополчан об их детях, что учились в больших городах на врачей, инженеров и даже на морских капитанов. Почему же его сын Ваня, вместо того чтобы тоже учиться, должен плясать и кривляться на базаре посреди гогочущей толпы, выпрашивая у нее за это копейки? При одной мысли об этом кровь бросалась в лицо Будулаю. Дружок-однополчанин начинал будить его посреди ночи у потухшего огня, спрашивая, почему это он так по-страшному кричит, скрежещет во сне зубами. Не знал однополчанин, что вовсе и не спит Будулай, не мог знать и того, какие горькие воспоминания и какие лучезарные надежды не дают спать его фронтовому другу.

И когда оказалось, что все его надежды похоронены под невысокой, совсем неприметной насыпью супесного чернозема в степи, там, на окраине кукурузного поля, ему почудилось, будто чья-то безжалостная рука до отказа качнула рычаг его горна и выдула из мехов лучшую часть его жизни. Война не только отняла у него Галю. Не сбылось, никогда не сбудется теперь и то, о чем мечтал он на марше в казачьем седле и бессонными ночами под терскими, кубанскими, донскими, украинскими и венгерскими небесами. Некому будет передать ему из рук в руки кувалду.

Разумеется, он еще в состоянии будет передать кому-нибудь свои навыки кузнеца, но, очевидно, так никогда и не сможет передать то, что переливается из жил в жилы только с родной кровью. Он уже убедился в этом на собственном опыте. Он пытался от чистого сердца, и пока ничего путного из его попыток не получилось. Люди, которых он брался обучать, уходили из его кузницы более или менее сносными кузнецами, но ни у одного из них металл не звучал под руками, как бубен. Не вздыхал, не смеялся, не рыдал, не нашептывал Будулаю на ухо вещи, подобные тем, что нашептывала ему под сенью шатра Галя. И ничего такого так и не успели сделать из куска металла эти добропорядочные кузнецы, о чем можно было бы сказать только одним словом: сказка!

Так и оставался Будулай с горьким разочарованием в своих лучших надеждах и мечтах, пока не появился рядом с ним его новый добровольный подручный.

После разговора с Будулаем в лесу Клавдия уже не приказывала своему сыну стороной обходить кузницу. Теперь Ваня, не таясь матери, каждое утро собирался туда как на работу. Да это и в самом деле была его работа, потому что при очередной встрече с председателем Будулай уговорил его начислять Ване по полтора трудодня за смену как младшему молотобойцу. Без старшего молотобойца Будулай предпочитал обходиться, а когда требовалось обработать большим молотом какую-нибудь деталь, он приглашал на время Володьку Царькова, невзрачного на вид парня из огородной бригады, наделенного могучей физической силой. Когда Володька поднимал молот, мышцы выступали у него из-под желтоватой кожи, обвивая его руки и грудь, как змеи.

Но со временем Будулай отказался и от помощи Царькова. Отказался не только потому, что тот, когда его звали в кузницу, всегда капризничал и непременно требовал, чтобы по окончании смены кузнец ставил ему на наковальню пол-литра. Настало время, когда Будулай мог уже сам взяться за молот, а держать, поворачивать в щипцах и обрабатывать металл небольшим кузнечным молотком мог доверить своему юному подручному. Ваня просил доверить ему и самый большой молот: несмотря на свои семнадцать лет, он был рослым, вровень с самим Будулаем, парнем, и молодые мускулы у него под кожей так и играли. Но на молот Будулай согласия не давал. Хребет у парня был еще жидкий.

И красивый был парнишка! Часто, поглядывая на него в кузнице, Будулай думал, что его матери и с этой стороны могла позавидовать любая другая женщина. Нет, Ваня совсем не был похож на мать, хотя о ней тоже никто не осмелился бы сказать, что она некрасива. Но вот может же быть, что у красивой русоволосой женщины с серыми глазами родился тоже красивый, но только совсем черноволосый, черноглазый сын. Не похож был Ваня на свою мать не только, как говорится, мастью. И совсем другого рисунка у него большие, будто чем-то навсегда удивленные глаза, и крылья бровей уходили далеко к вискам по-другому, чем у Клавдии, и ноздри тонкого хрящеватого носа были вырезаны так причудливо, как больше ни у кого другого в хуторе.

Смуглой и немного дикой красоты был юноша. Слыхал Будулай, что и на погибшего, тоже русоволосого, мужа Клавдии он не был похож. Оставалось думать, что пошел Ваня в кого-нибудь из своих дальних предков.

Вот о сестренке его Нюре сразу можно было сказать: мамина дочка. И такая же к семнадцати годам выкохалась сероглазая красавица. Только не в пример матери тихая и застенчивая. Но такая же прилежная.

В работе дома и летом на винограднике в колхозе она была как огонь, а в школе всегда помогала брату решать задачи. Учились они в одном классе и любили друг друга без памяти. Во всяком случае, никто из ребят не рисковал дернуть Нюру за косичку, не говоря уже о более серьезной обиде. Утром вместе шли в школу под вербами берегом Дона в станицу, где находилась десятилетка, вместе и возвращались. Даже ближайшие товарищи и подруги ни разу не видели, чтобы они поссорились, тем более подрались, как это бывает между братьями и сестрами.

И только, как догадывались товарищи и подруги, нового увлечения своего брата Нюра, так же как и мать, не одобряла, хотя она и не говорила об этом. Догадывались об этом проницательные дети по тем взглядам, что, бывало, украдкой бросала Нюра со склона в виноградном саду, в котором она работала летом, на хуторскую кузницу, где в это время работал ее брат.

Все чаще подумывал Будулай, что без своего юного подручного ему ни за что бы не справиться с выполнением многочисленных заказов в кузнице. Все чаще приходилось им задерживаться там до темноты: дня не хватало. То женская садовая бригада Дарьи Сошниковой принесет сразу целый ворох тяпок, которые необходимо подклепать и заострить немедленно и ни часом позже. То из огородной бригады привезут телегу лопат, которые тоже нужно наладить в первую очередь, потому что не станет же ждать в земле за Доном картошка «ранняя роза». То, вместо того чтобы ехать в мастерскую в станицу, спустится из степи, из бригады, на грузовой машине шофер, знающий, что никто так не сумеет перебрать лист по листу старую рессору, как этот цыган. Сделает так, что рессора потом служит лучше новой. «Должно быть, он какую-то цыганскую молитву знает или же для крепости стали при закалке особый порошок подсыпает!» – будет потом восхищаться шофер в кругу своих товарищей по профессии.

Когда доходили такие разговоры до Будулая, он усмехался. И порошка он не подсыпал, и в колдовство давно уже не верил. С тех самых пор, как еще в ранней молодости полгода пролежал в больнице в городе со сломанной при падении с лошади ногой и выучился там с помощью своего соседа по койке, учителя, грамоте. Из-за этого потом и пошла у него вражда со старостой их цыганского табора, его двоюродным дядей Данилой. В тот вечер, когда дядя Данила вырвал у него из рук книжку и бросил ее в костер, Будулай и ушел из табора. И потом пришлось ему совсем отколоться от соплеменников, вплоть до самой войны кочевать со своей семьей отдельно.

Примирение состоялось уже после войны, когда дяди Данилы уже не было в живых и цыгане, покоренные при встрече с Будулаем блеском его орденов и медалей, уговорили его возглавить их табор. Не без тайной корысти действовали они, надеясь, что с таким вожаком проще будет иметь дело с милицией, сельсоветами и прочими органами власти. Не каждый

табор имеет своим вожаком кавалера ордена Красного Знамени и ордена Славы. Цыгане надеялись извлечь из этого максимум выгод.

Как же впоследствии были обескуражены они, когда их новый вожак, добровольно избранный ими на этот пост, сразу же повернул все порядки в таборе так, что они вскоре и думать перестали, как бы спрятаться за его спиной, а думали лишь о том, как бы в один прекрасный день не въехать всеми своими кибитками во главе с вожаком прямо в колхоз!

Порядки, заведенные Будулаем в таборе, показались его соплеменникам столь непривычными, что они взроптали...

Это же неслыханное дело, чтобы вожак не только отказывался защитить своего соплеменника, которого прихватила милиция за нехорошим делом, но и сам угрожал передать в руки правосудия цыгана, виновного только в том, что он захотел приумножить табун еще одной лошастью! Виданное ли дело, чтобы малых детишек, цыганят, поселяли на зиму в городах и станицах, снимали для них квартиры и тратили большие деньги на то, чтобы снарядить их в школу! А старые и молодые цыганки в это время вынуждены были промышлять на базарах и на станицах без своих помощников и помощниц. Одно дело, когда твой маленький сын или маленькая дочка спляшет перед нетребовательной базарной публикой или же лукаво споет на потеху толпе что-нибудь вроде «Цыган ходит, трубку курит, а цыганка людей дурит», а другое – пробавляться одним лишь гаданием, ждать, когда тебе захочет посеребрить руку кто-нибудь из доверчивых людей. Таких становилось все меньше.

Обычные доходы, которые к вечеру должны были сносить цыганки в общий котел, резко уменьшились, и они, как правило, стали возвращаться с промысла в табор голодными и до последней степени злыми, конечно, в первую очередь на вожака, на Будулая. А он как будто бы только и ждал, чтобы самая беспокойная – женская половина населения табора до предела накалилась в бесплодных усилиях заработать на хлеб и на монисто. И однажды, когда вечером у центрального костра, полыхавшего посреди кибиток на выгоне за большой станицей, цыганки организованно подняли ропот, он повернул дело так, что весь огонь их ожесточенных слов обратился не против него, а против их мужей, в которых ему сравнительно легко было распознать подстрекателей этого женского бунта.

Это они, их мужья, говорил цыганкам Будулай, обленились настолько, что давно уже живут, как байбаки, на содержании у своих жен и детей. Это они ослепли и не хотят видеть, что на попрошайничестве и на воровстве лошадей теперь не проживешь: другое настало время, да и лошадей осталось уже столько, что скоро совсем нечего будет воровать. Разве они не видят, что коней почти совсем уже заменили машины? И раньше цыгане хоть действительно знали толк в лошадях; если были при таборах табуны, так первоклассные, и сами цыгане были наездники хоть куда, а теперь они дошли до того, что скупают в отстающих колхозах худоконок, подкармливают их и сдают в «Заготскот» на колбасу. Такого позора еще не было. А про цыганского барона кто-нибудь в таборе знает? Нет. И немудрено, что не знает, потому что почти все цыгане неграмотные.

И Будулай доставал из кармана газетку, чтобы прочитать притихшему табору при свете костра об этом самом цыганском бароне, у которого отобрали чемоданы с двумя миллионами рублей. Женщины собрали ему эти миллионы по гривеннику, гадая и попрошайничая, а где можно, то и обворовывая людей, чтобы он разъезжал на собственном автомобиле по курортам... Что ж, если хотите и дальше попрошайничать, то покупайте и вашему вожаку автомобиль, набивайте ему чемоданы деньгами, он тоже станет бароном, будет разъезжать по большим городам и курортам, а неграмотные дети ваши пусть в это время пляшут перед толпами людей на базарах и поют позорные для цыган песни!

И Будулай повернул дело так, что гроза, которая должна была разразиться над ним, миновала его и разразилась над головами всех остальных мужчин, которые надеялись остаться во всей этой истории в стороне. Никогда еще не было в цыганском роду, чтобы те самые жен-

щины, что испокон были безропотно покорны своим мужьям, что и попрошайничали, и гадали, и учили своих детей воровать только ради того, чтобы их мужья не испытывали недостатка ни в водке, ни в других удовольствиях, те женщины, что всегда соперничали одна с другой: кто больше монет и бумажек принесет своему мужу, а сами довольствовались лишь теми ломтями хлеба и черствыми пирожками, которые подавали им мягкосердечные, глупые люди, – никогда еще не было в таборе, чтобы эти же самые цыганки пошли в такую атаку на своих мужей и, сверкая глазами, бренча монистами и серьгами, скаля зубы, сразу постарались выместить на них все свои давние и совсем свежие обиды.

Долго пылал в этот вечер большой цыганский костер на выгоне за станицей. Долго не умолкал гомон, и люди в станице, просыпаясь в своих постелях, с испугом и удивлением думали, о чем это размитинговались среди своих шатров эти бродяги. Не иначе как замышляют какую-нибудь новую пакость против честных людей.

И люди, вставая с постели, шли проверять запоры, спускать с цепей кобелей. А сторожа на фермах, на птичниках и при табунах спешили перезарядить свои двустволки более крупной дробью. Всю ночь удивлялись и беспокоились люди в станице.

Но еще больше удивились они, когда рано утром пришла в их станицу прямо в правление колхоза целая делегация цыган из того самого табора, откуда ночью доносились тревожные звуки, набилась до отказа в кабинет к председателю и совсем ошарашила его, сбила с толку своим заявлением, сделанным от их имени главным цыганом с грудью, сплошь увешанной боевыми орденами и медалями: «Принимайте в колхоз. Садимся на землю».

– Весь наш табор еще до указа о цыганах уговорил жить на одном месте в колхозе, а сам вскоре опять снялся с места и стал колесить в поисках своего семейства. Пока не пристал к этому берегу, – рассказывая обо всем этом Ване, невесело усмехался Будулай. – Сейчас все цыгане, мои родичи и другие, каждый месяц пишут мне письма, ругаются и зовут к себе. Но куда же мне отсюда ехать? Теперь здесь мой корень...

Только ему, своему единственному слушателю, Будулай и не боялся приоткрыть свое сердце: Ваня умел так хорошо слушать, распахнув черные глаза.

А в последнее время привязанность Будулая к Ване еще больше окрепла. На это была причина. Издавна существует мнение, что цыгане горячий народ и что они не склонны прощать человеку обиды. Но меньше знают о том, как цыгане умеют ценить малейшее проявление сочувствия и дружбы. Между тем Будулай как-никак оставался сыном своего племени. В хуторе давно заметили, что, если Будулай о чем-нибудь попросить, он, не считаясь ни со временем, ни с усталостью, не откажет человеку.

Кое-кто даже пользовался этим в своих корыстных целях. Иной шофер, сломав на автомашине рессору в «левом» ночном рейсе, не стеснялся среди ночи разбудить Будулая и уговорить его помочь горю, чтобы утром на машине опять можно было выполнять в колхозе обычную работу. И Будулай, ни слова не говоря, вставал с койки и шел раздувать огонь в кузне. В глухую полночь ее двери освещались ярким пламенем. Наутро бабка Луцилиха осведомляла через заборы соседку справа и соседку слева, что опять этот чертогон среди ночи служил какой-то молебн в балке.

У Будулая давно было намерение обнести найденную им могилу в степи железной оградой, и его растрогало, какое участие принял в этом Ваня. Будулай давно уже и рисунок будущей ограды начертил углем на большом листе картона, да все никак не мог собраться со временем, чтобы приступить к этой работе. Колхоз загружал его. Ему оставалось только вздыхать, поглядывая на сложенные в углу кузницы остроугольные полосы и круглые прутья заготовленного железа. Успокаивал он себя единственной надеждой, что Тимофей Ильич все-таки сдержит слово и даст ему хотя бы двухнедельный отпуск.

Тимофей Ильич выполнение своего слова откладывал, и Будулай все чаще поглядывал в угол кузницы. Эти взгляды и подметил Ваня. Однажды он бесхитростно поинтересовался у

Будулая, зачем это железо. Узнав зачем, он стал упрашивать Будулая позволить ему попытаться исполнить по рисунку на картоне решетку для ограды. Это будет его первая самостоятельная работа. И Ваня убеждал Будулая так настойчиво, что тот не смог отказать ему в просьбе. Конечно, лучше бы от начала до конца исполнить эту работу своими руками, но ведь и Ваня будет работать под его руководством и по его рисунку.

И невозможно было отказать этим глазам, живым как ртуть, столь же темным, сколь и чистым, то и дело меняющим свое выражение и всегда таким, что, казалось, сквозь них можно было заглянуть ему в душу.

Теперь Ваня стал уходить в кузницу, едва лишь за левобережным лесом солнце начинало показывать свою спину, и возвращался, когда за буграми уже скрывалось солнце. Теперь мать и сестренка Нюра почти не видели его.

Чуть поодаль от большой наковальни, на которой работал Будулай, поставили в кузне наковальню поменьше, на которой Ваня стал выполнять первую в жизни большую кузнечную работу. Теперь из дверей кузницы неслись удары двух молотков. А иногда Будулай становился и в подручные к Ване.

От сомнений Будулая, что эта работа может оказаться Ване не по плечу, вскоре не осталось и следа. Все чаще Будулай ловил себя на том, что начинает любоваться его работой.

По чертежу Будулая с четырех сторон ограды в решетки должны были быть вделаны откованные из железа кони, и оставалось только подивиться, как Ване удавалось справляться с этим. Из-под его молотка они выходили такими, будто он только с лошадьми и имел дело. Ему даже удавалось развеять им гривы так, как делает это ветер, когда лошадь скачет в степи. И Будулай почти отказывался верить словам Вани, что ему к семнадцати годам так ни разу и не пришлось поездить верхом на лошади. В их колхозе верховых лошадей не было.

– А хотелось бы тебе поездить? – интересовался Будулай.

И почему-то радовался быстрому ответу:

– Еще бы!

– Вот в этом я тебе, пожалуй, ничем помочь не смогу, – грустновато-насмешливо говорил Будулай. – На велосипеде моем езди, сколько угодно, а другого транспорта с седлом у меня сейчас нет. Мы, цыгане, теперь народ спешенный.

– И не жалко вам? – допытывался Ваня.

– Чего, Ваня, нам должно быть жалко?

– Вашей прежней жизни. То, куда вам вздумалось, туда вы и поехали, а теперь должны всегда жить на одном месте.

Мерно покачивая рычаг кузнечного меха, Будулай отвечал ему с сосредоточенной задумчивостью:

– Как тебе сказать... Конечно, не без того, чтобы и пожалеть. Даже я, Ваня, и сейчас как где увижу хорошую лошадь, так во мне кровь и зазвонит. А у других цыган, я знаю, и без слез не обошлось, когда они расставались с лошадьми. Недаром если где вступает старый цыган в колхоз, то обязательно просится в конюхи или же в степи стеречь лошадей, и в городе тоже пристраивается куда-нибудь ездовым на повозку. Трудно отвыкать: как-никак наше племя всегда было на колесах. И отцы, и деды, и прадеды кочевали. Об этом в каждой цыганской песне поется. Но надо отвыкать: другое время. У молодых цыган со старыми давно уже из-за этого война шла. Ты вот зимой в школу ходишь, может быть, на агронома или на инженера выучишься, а чем цыганские дети хуже? Среди них тоже есть такие же способные, как ты или твоя сестренка Нюра. Молодые цыгане и цыганки доказывали старым, что давно уже пора нам жить такой же жизнью, как все другие люди: мужчины должны не воровать, а работать, и женщинам надо перестать людей дурить. Ты, Ваня, видел когда-нибудь наших цыганок?

– Толечко один или два раза. Меня мамка, как увидит где цыган, сразу же запирала в доме.

– Но может быть, Ваня, ты все-таки успел рассмотреть, что среди цыганок много красивых?

С зарумянившимися от смущения скулами Ваня отвечал:

– Это я рассмотрел.

– Вот видишь, такие красивые, хорошие женщины – и так же красиво умеют обмануть. Твоя мама не зря прятала тебя. Она боялась, как бы ты по детской глупости не попался на их обман. Конечно, все эти разговоры, что цыганки крадут чужих детей, были выдумкой. Этими сказками бабки сперва своих внучат пугали, а потом и сами стали пугаться. Но вообще-то, если цыганка не обманет, то, значит, она и не цыганка. И самое главное, Ваня, их даже нельзя в этом винить. Они ведь с детства привыкли, что только так и можно жить, как жили их матери и бабки. Они даже не понимали, что можно жить как-то по-другому, и если, Ваня, обманывали людей, то это вовсе не потому, что имели против них зло. Каждое утро они уходили из табора гадать, побираться и воровать, как на работу. А цыганята, Ваня, такие же дети, как ты и Нюра, в это время плясали под бубен и тоже тянули ручонки за подаванием. И попробуй цыганка к вечеру не принеси мужу денег на водку или табак, он с нее батогом шкуру спустит. Ты никогда не видел, как женщин батогом бьют?

Ваня переспрашивал:

– А что такое батог?

– Вот видишь, ты даже не знаешь, что это большой кнут. А я не раз видел, как этим батогом отец мою мать до полусмерти избивал за то, что она возвращалась в табор с малой добычей. И мне, Ваня, этого большого кнута перепало, хотя мой отец и не самый злой цыган был в таборе. Из-за этого в нашем народе и шла война между молодыми и старыми цыганами. Молодые, особенно те, которые успели в армии послужить, были за то, чтобы бросить кочевать, а старые и слышать об этом не хотели. Все чаще до кровопролития стало доходить, сыновья и отцы между собой дрались. И еще неизвестно, Ваня, сколько бы продолжалась эта война, все-таки старые цыгане во всех таборах еще крепко держали в своих руках власть, неизвестно, сколько бы еще жили цыгане в нужде, во вшах и в грязи, если бы советская власть не сказала им: «Покочевали – и хватит! С этого дня вы больше не бездомные бродяги, а такие же, как и все, люди...» И если, Ваня, тебе кто скажет, что я когда-нибудь брошу колхоз и опять пойду по земле цыганское счастье искать, ты этому человеку не верь. Может быть, кто из других цыган и посматривает еще в поле, шевелит ноздрями на ветер, но только не я. Я этого ветра нанюхался. Я к этому берегу до конца своей жизни пристал. Здесь родная для меня могила, здесь и мне свой век доживать.

На это Ваня тихо замечал:

– Вы еще не старый.

– Тот человек долго живет, который знает, что ему еще нужно на ноги детей поднять. А мне, Ваня, некого поднимать.

И, умолкая, Будулай начинал громче стучать по наковальне. Все больше сближали его эти разговоры с юным другом, которому можно было открыть душу без боязни, что он обратит откровенность во вред. Все другие люди в хуторе считали Будулая человеком малоразговорчивым, скрытным. Таинственная улыбка пробегала по губам Вани, когда ему приходилось слышать такие речи. Сумели бы они, эти люди, быть такими же откровенными и рассказывать так же интересно, как Будулай! В свою очередь, Будулай часто внутренне удивлялся, как это Ване удалось заставить его разоткровенничаться, чего никогда не удавалось другим людям. Может быть, виной этому его взгляд, который всегда так беспокоил Будулая?.. Особенно когда Ваня стоял прямо против него и, о чем-нибудь спрашивая, вдруг в упор взглядывал на Будулая своими глазами, черными и вместе с тем прозрачно-светлыми, как вода в быстротекущей речке.

И как он слушал, страдальчески изламывая брови и тонкие, чуткие ноздри тогда, когда и у Будулая под влиянием нахлынувших скорбных воспоминаний начинало постанывать сердце!

Но больше всего ценил Будулай в своем юном друге, что очень способным оказывался он учеником, начисто опровергая мнение, будто талант кузнеца может переливаться из жил одного человека в жилы другого только с родной кровью. А когда Ваня взялся сделать решетку для ограды вокруг могилы, можно было подумать, он только и ждал этого часа, чтобы окончательно доказать, на что способен.

Как-то Будулай спросил у него:

– А ты не знаешь, Ваня, кто это посадил на могиле за хутором кочетки?

Кованый конь вздрогнул и сдвинулся со своего изображения на картоне, с которым Ваня сверял свою работу.

– Знаю. Только я вам этого не могу сказать.

Будулай удивился:

– Почему?

– Если я скажу, меня мамка заругает.

Молоток остановился в руке у Будулая, и потом он не сразу, нетвердо опустил его на грудь наковальни.

– Ну, если тебе мамка запретила, то ты и не говори.

С горечью задумываясь о причинах столь неприязненного отношения к нему матери Вани, он чуть не пропустил виноватый вопрос юноши:

– А вы ей не скажете?

Будулай не смог удержать невеселой улыбки:

– Как же, Ваня, я ей могу сказать, если мы с ней совсем не разговариваем? Твоя мамка почему-то меня за три версты обходит.

– Вы на нее не обижайтесь. Это ее в детстве напугали.

– Я, Ваня, и не обижаюсь. Какое я имею право обижаться на твою мамку?

– Это она кочетки посадила.

Молоток второй раз застыл в воздухе над плечом у Будулая.

– Твоя мамка?

– Да. Она и могилку два раза в год, перед Маем и Октябрем, ходит убирать.

Молоток и щипцы задрожали в руках у Будулая, он отложил их в сторону. Непонятная тревога заползла ему в грудь.

– А ты не знаешь, Ваня, почему она это делает?

– Она говорит, что нехорошо одинокую могилку без всякого присмотра оставлять. – И, пугаясь, что в своей откровенности он зашел чересчур далеко, Ваня счел необходимым опять предупредить Будулая: – Только вы, пожалуйста, не проговоритесь ей. Она не хочет, чтобы об этом знали в хуторе. Она говорит, что такими делами нехорошо хвалиться. Не скажете?

– Будь спокоен, Ваня, не скажу.

– Честное комсомольское?

Улыбаясь, Будулай смотрел на него омытыми влагой глазами:

– Что-то, Ваня, я не видел комсомольцев с такой бородой, как у меня.

– Все равно. Я когда мамке рассказываю что-нибудь секретное, она сперва мне всегда комсомольское слово дает.

– Честное комсомольское! – твердо сказал Будулай.

Так вот еще какой могла быть эта женщина, о которой все, едва лишь поселился Будулай в хуторе, стали говорить ему, что у нее невозможный характер. Он и раньше подозревал, что все это не так просто. И Будулай вспоминал то выражение, которое он случайно подсмотрел на лице у Клавдии в лесу. Он не мог тогда обмануться.

– Хорошая, Ваня, у тебя мамка! – заканчивая этот разговор, сказал Будулай и в награду получил исполненный признательности взгляд юноши.

Как всегда, Ваня задержался в кузнице и пришел домой, когда мать уже приехала из-за Дона. С некоторых пор, к немалому удивлению Вани, она не только смирилась с тем, что он целые дни проводит в кузнице, но как будто даже заинтересовалась тем, что он там делает.

И в этот вечер, собрав ему на столе ужин и с улыбкой наблюдая, как он в третий раз подливает себе половником из кастрюли борщ в тарелку, она спросила:

– Что же ты там делаешь, если тебе одному кастрюли борща мало?

Не женское это было дело – допытываться, чем могут заниматься в кузнице мужчины, и Ваня не очень вежливо ответил:

– Что придется. Одним словом, разное.

Продолжая улыбаться, она окинула его взглядом. Он и в самом деле за последнее время повзрослел: видно, ему на пользу эта новая работа. Он раздался в плечах, покрупнел, и под смуглой кожей у него теперь переливались такие же змеи мускулов, как у Царькова.

Ее сын становился мужчиной.

– Скоро тебе мать совсем не будет нужна, – сказала она с невольной грустью. – Уже сейчас у тебя от нее появились секреты.

Он перестал выбирать из тарелки гущу и поднял на нее смущенный взгляд.

– Мама!

Она засмеялась и, подняв вверх указательный палец, поклялась:

– Честное комсомольское!

Тогда, схватываясь горделивым румянцем, он рассказал ей о работе, доверенной ему Будулаем. О железных кованых конях с развевающимися гривами, что с четырех сторон должны будут увенчать решетку ограды. Третьего коня Ваня уже заканчивал, на очереди был четвертый. И потом останется только сделать калитку и еще нечто такое, что Ваня хотел бы сохранить в тайне от Будулая до конца своей работы.

В ответ на молчаливый вопрос матери, взметнувшей брови, он потребовал от нее новой клятвы. Он заметил, что, давая ее, она улыбается какой-то вымученной улыбкой.

Он забеспокоился:

– Что с тобой? Ты не заболела?

– Н-нет... Но мне что-то правда нехорошо. Что-то вдруг в голову ударило. Это я, должно быть, перегрелась сегодня за Доном на солнце.

– А ты, мама, скорей иди ложись. Я у коровы сам почищу и травы ей на ночь брошу.

И она послушно ушла в соседнюю комнату, легла на кровать, отвернувшись лицом к стенке.

Ночью ему почудилось, что она плачет, и он, приподняв от подушки голову, окликнул:

– Мама!

Она не отозвалась. Тогда он решил, что ему приснилось. Иногда, бывает, приснится и такой сон, как будто это ты увидел или услышал наяву.

Утром Ваня спросил у Нюры:

– Ты ночью ничего не слышала?

– Нет. Я вчера как натанцевалась на площадке, так сразу и уснула как убитая. А что?

– Нет, ничего, – ответил Ваня.

Вероятно, ему действительно все это почудилось.

Все же он пришел к выводу, что мать могла расстроиться, узнав от него, как переживает Будулай потерю своей жены, и решил в дальнейшем избегать разговоров с ней на эту тему. Однако, к его удивлению, она сама стала каждый вечер интересоваться, как справляется он с работой, доверенной ему Будулаем, далеко ли еще до конца и удастся ли Ване сохранить от Будулая свою тайну. Ей почему-то хотелось знать об этом в мельчайших подробностях: и какой должен быть узор на решетках ограды, и как будет выглядеть калитка, и скоро ли Ваня закончит последнего коня. Волей-неволей Ване приходилось удовлетворять ее любопытство.

Он не мог бы сказать, что это было ему неприятно. Ему льстило, что мать вдруг вспылала таким интересом к его работе и разговаривает с ним об этом как с мужчиной.

Отвечая ей, он говорил, что работа совсем подходит к концу, уже закончен и четвертый конь, осталось лишь сварить калитку. Он воспроизводил на листке бумаги карандашом, какой получается узор. А свою тайну ему пока удавалось от Будулая сохранить, хотя это и нелегко, потому что буквально приходится подстергать минуты, когда Будулая не бывает в кузне. Да и кузня такая маленькая, что в ней трудно что-либо спрятать.

– Это ты хорошо придумал, – говорила мать, относясь с неподдельным уважением к его тайне.

Кроме того, она спрашивала у Вани, о чем они говорят в кузне, оставаясь долгие дни вдвоем с Будулаем. Не может же быть, чтобы они все время только и говорили о своей работе?! Ваня снисходительно усмехался:

– Конечно нет. Только честное комсомольское?

Она немедленно поднимала палец.

Рассказывая, Ваня искоса любовался ею, не без сыновней гордости отмечая про себя, какая у него еще молодая мать, если она с такой жадностью, как девочка, раскрыв большие серые глаза и приподняв брови, слушает все те истории из жизни цыган, что сам Ваня узнал из уст Будулая. Поставит локти на стол и слушает не перебивая. А на другой половине большого обеденного стола точно так же поставила локти Нюра и тоже, распахнув глаза, слушает. Вылитая мать! Ее Ваня тоже заставлял давать комсомольское слово и, зная характер сестры, ничуть не сомневался, что она сдержит его. Она была похожа на мать не только внешне.

Когда же Ваня стал рассказывать, как Будулай, уезжая в армию, прощался в степи с женой, он увидел, как по щекам матери текут слезы. Внезапным движением она притянула Ваню к себе и, крепко обнимая, прижала к своей груди его голову. Он не на шутку испугался, услышав, как гулко колотится у него под ухом ее сердце.

– Мама, вот ты и опять расстроилась! Я не буду больше рассказывать, – с упреком сказал он, заглядывая ей в лицо своими прекрасными черными глазами.

Она наклонилась и стала целовать их короткими, быстрыми поцелуями. Нюра с неодобрением смотрела на эти нежности матери и сына.

– Нет, нет, рассказывай. А слезы я сейчас вытру. Это я просто вспомнила, как мне самой приходилось расставаться. Много горя война принесла людям. – И тщательно, насухо вытерев глаза подушечками ладоней, она спросила у Вани с полушутливой улыбкой: – Ну а про меня у тебя никогда не спрашивал твой Будулай?

– Нет, мама, не спрашивал.

Ее лицо немного потускнело.

– И никогда ничего про меня не говорил?

Ваня со смущением вспомнил:

– Говорил.

– Что?

– Он говорил, что ты, мама, у меня хорошая.

Она недоуменно подняла брови:

– Так он сказал?

– Да. Ты напрасно, мама, его боишься. Он совсем не страшный.

– А я его, сыночек, не боюсь. Так можешь ему и сказать. Откуда ты взял? Если тебе с ним хорошо, то чего ради и я буду его бояться?

После этого она ушла в другую комнату, и вскоре Нюра стала подмигивать брату, знаками показывая ему что-то у себя за плечом. Ваня заглянул через ее плечо в соседнюю комнату и увидел, что мать стоит у стены и внимательно рассматривает свое отражение в зеркале. Брови у

нее приподняты, и вообще на лице такое выражение, будто она хочет и никак не может понять, почему это она вдруг стала хорошей. До этого ее в хуторе не баловали такими словами.

А утром Ваня опять ушел в кузницу, и у него продолжались там свои разговоры с Будулаем. В самом деле, не весь же день они там раздували огонь и стучали по наковальням. Молоток – не игрушка, надо и дух перевести.

Ваня, конечно, поспешил сообщить Будулаю, что мать теперь уже совсем перестала его бояться.

– Она мне разрешила и вам об этом сказать.

Если бы Ваня был не так молод и простосердечен, он бы заметил, что Будулай не остался к этому известию равнодушным. Он заметно повеселел и захотел узнать от Вани, какими словами говорила его мать об этом.

– Да какими?.. Самыми обыкновенными. И еще она давно просила вам передать, что вы очень хорошие дверцы сделали на свинарнике. Теперь хряки их никогда не разобьют. Сразу, говорит, видно, что мастер.

Ему доставляло удовольствие передавать эти слова матери своему другу. Ваня испытывал явное облегчение, что теперь ему не нужно было играть в молчанку и в прятки с этими двумя близкими ему людьми, и тщеславно радовался, что сумел, кажется, перекинуть некое подобие моста между ними.

Во всяком случае, если Будулай и Клавдия по-прежнему и не встречались друг с другом, то при посредстве Вани они уже успели узнать друг о друге много такого, чего не знали раньше.

И если Клавдия, расспрашивая по вечерам сына, все больше узнавала о прошлой жизни Будулая среди цыган и его военной фронтовой жизни, то и Будулай немало уже знал о том, как ей пришлось одной жить в военные и первые послевоенные годы с детьми-двойняшками. Как она вынуждена была брать их с собой за Дон, потому что дома их не на кого было оставить, а детские ясли в колхозе тогда еще только строились. Покормит грудью, положит их под вербу и потом поглядывает на них между делом. А вокруг бродят по лесу свиньи. Один раз племенной хряк вырвался из загона и чуть было не поднял на клыки Ньюру. Женщины еле отбили.

Будулай, слушая рассказы Вани об этом, мрачнел и надолго замолкал. Он начинал стучать по наковальне с таким ожесточением, будто намеревался вогнать ее в землю.

Между тем Ваня уже сварил и калитку для ограды. Наступил солнечный день середины октября, когда в грузовую автомашину, с шофером которой договорился Будулай, погрузили все, что за это время было сделано в кузнице Ваней, поднялись из хутора в степь и там разгрузились у одинокой могилы на окраине кукурузного поля.

– А это что у тебя в мешке? – с удивлением спросил Будулай.

Ваня молча стал развязывать мешок, брошенный им при погрузке в кузов машины. Теперь он мог открыться. Это был ажурный, с красной звездочкой шпиль, потихоньку от Будулая сваренный Ваней из железных прутьев.

Будулай растерялся, чувствуя, как сердце вдруг застучало у него в ушах, и сумел лишь сказать:

– Звездочки, Ваня, ставят только на могилах героев.

Но Ваня предвидел это возражение:

– Мама сказала, что можно ставить и всем тем, кого убили фашисты.

Против этого Будулай не смог ничего возразить.

Ограду вокруг невысокого холмика земли поставили быстро. Врыли четыре железных столба, связали на них ажурные решетки. Теперь Будулай мог одним взглядом охватить все, что было сделано его юным другом.

И вдруг на какое-то мгновение почудилось Будулаю, что эти вкованные в решетки с четырех сторон железные кони с развевающимися гривами сейчас сорвутся с места и понесут ограду с могилой по осенней степи, как когда-то они носили кибитку с его Галей.

Отпустив Ваню домой, он остался в степи наедине с воспоминаниями о том, что было самым дорогим в его прошедшей жизни. Теперь все это было позади, как сама его прошлая полудикая жизнь с ее кочующими по степи кибитками, с шатрами и смрадно дымящими кострами.

Может быть, больше всего сегодня могла напомнить ему о ней эта серая лента дороги, что, огибая шелестящее золото кукурузного поля, уходила мимо обнесенной оградой насыпи земли к туманной линии предвечернего горизонта.

Он спустился из степи в хутор уже перед сумерками. Три или четыре человека уступили ему дорогу и проводили его удивленными взглядами, потому что он, кажется, не узнавал никого и вопреки обыкновению ни с кем не хотел здороваться. Особенно негодовали женщины, которые за это время уже успели внушить своим мужьям, что во всем хуторе нет другого такого же вежливого, культурного мужчины. Теперь женщинам предстояло подыскивать объяснения в ответ на язвительные вопросы мужей о том, какая это оса укусила сегодня их прекрасного цыгана. Ни знакомых людей не узнает, ни дороги, как видно, не разбирает перед собой. Иначе он вдруг не свернул бы круто с улицы, по которой всегда ходил домой, и не пошел бы по-за хутором, прямо по глухому, бурьянистому пустырю, между окраинными домиками и виноградными садами.

Но Будулая меньше всего интересовало сейчас, что могут сказать и подумать о нем люди. И, лишь привлеченный словами долетевшего до него громкого разговора, он поднял голову и огляделся, искренне недоумевая, как он вдруг мог очутиться там, где очутился.

Так это же дом Клавдии Пухляковой! Дом стоял на окраине хутора и смотрел одним своим окном на пустырь и на виноградные сады. И разговор, обративший на себя внимание Будулая, донесся сейчас до него из этого окна, открытого на пустырь и задернутого легкой колеблющейся занавеской.

За тонкой занавеской громко разговаривали, не боясь, что их кто-нибудь услышит, два женских голоса. Первый он сразу узнал бы из тысячи других голосов, он мог принадлежать только Клавдии Пухляковой. Второй был постарше и грубее, он, скорее всего, принадлежал старухе. Ее голос, несомненно, тоже был ему знаком, он лишь не сразу смог сообразить, какой из хуторских старух он принадлежит.

Донесшийся до Будулая разговор оказался настолько интересным, что он невольно замедлил шаги и вскоре остановился.

– Креста на тебе, бабушка, нет, – говорила Клавдия, на что старушечий голос тотчас же ответил:

– Нет, я крещеная, а вот ты уже лет двадцать дорогу в храм забыла. Ты меня, Клавочка, не совести, я христианскую веру соблюдаю. У нас в доме батюшка каждый год кадилом углы освящает, а вот ты и последнюю иконку в сарай отнесла. Нехорошо, от моих глаз ничего не укроешь. У меня они даром что старые, а я очков не носила и носить не собираюсь.

– Я тебе этим летом уже всех премиальных поросят передала да двух овечек, да еще валушка. Откуда же мне еще взять? Последнего кабанчика отдать, что ли? – спрашивала Клавдия.

Будулая показалось, что усталость, сдерживаемый гнев и бессилие – все сразу смешалось в ее голосе. Он почувствовал, как сердце у него заныло. Судя по всему, Клавдия вынуждена была терпеть какую-то обиду, и он не мог, не вправе был прийти ей на помощь.

– А я на него, Клавочка, и не зарюсь. Спаси Христос! Это ты на меня напраслину возводишь.

Будулай уже узнал голос. Неужели это она, злая и лживая старуха, от которой давно уже отвернулся весь хутор, имеет такую власть над Клавдией, и та, вместо того чтобы немедленно указать ей на порог, разговаривает с ней таким смиренным тоном? И это она, Клавдия Пух-

лякова, «сатана в юбке», как ее называет бухгалтер колхоза! Кстати, Будулай однажды взял его после таких слов за воротник рубахи и тряс до тех пор, пока не услышал заверения, что он всего-навсего пошутил и больше никогда не позволит по адресу Клавдии подобных шуток. «Чуть все пуговицы не пообрывал, – ошупывая воротник и горло, сердился бухгалтер. – Нашел за кого заступаться! Что она тебе, жена или невеста?» Ни невестой не приходилась Будулаю эта женщина, ни тем более женой (жена его вот уже семнадцать лет лежит под холмиком земли за хутором), но почему-то острой жалостью и еще каким-то другим чувством наполнялось сердце Будулая, когда он слышал теперь, как она с покорными интонациями отвечает Лушилихе:

– Ты же знаешь, что у меня самой двое больших детей.

Старуха немедленно согласилась:

– Еще бы мне не знать!

– Мне их тоже надо накормить.

– Я, Клава, твоим деткам не враг. Ты это сама очень хорошо понимаешь, – тут же отпаривала Лушилиха.

– У вас и сейчас два кабана в катухе на откорме. Скоро на ноги не будут вставать. Куда вам еще двух поросят? Опять твоему деду в городе на базаре торговать?

– Это, Клава, не твоя печаль: на базаре он их продаст или сам съест, – с враждебностью ответила старуха. – И про твоего кабанчика ты мне толкуешь совсем зря, он мне задарма не нужен. Ты нонче как будто не с той ноги поднялась, никак не хочешь понять, о чем я тебе толкую. – Старуха примолкла и продолжала, понизив голос так, что теперь Будулаю пришлось к ее словам прислушиваться: – Тебе, Клава, ничего не стоит парочку поросят и за Доном взять. Кто их там усчитывает? То ли в лесу они заблудились, то ли в Дону утопли. В колхозе ты пока что, слава богу, из доверия не вышла. Если бы все такие колхознички были, мы бы уже и до коммунизмы дошли... – Старуха еще больше понизила голос: – Ты только вынеси их в мешке на берег, как стемнеет, под ту большую вербу, а мой дед подъедет на лодке – и... А хочешь, можно и с ветеринаром акт оформить. Нашему ветеринару пол-литра поставить – и он не токмо на поросеночка – на свинью акт подпишет.

Даже Будулаю, который был лишь невольным слушателем их разговора, чудовищным показалось это предложение старухи, и большого усилия стоило ему удержаться, чтобы не выступить из своего укрытия и не крикнуть ей, чтобы она немедленно убралась подобру-поздорову. Он ничуть не сомневался, что Клавдия так и поступит. Он уже знал, что и в более безобидных случаях она впадала в ярость, и тогда горе было тому, кто осмеливался ее затронуть. Недаром и сам председатель старается поддерживать с ней видимость добрых отношений – «мирное сосуществование», как выражался бухгалтер.

Тем большим было удивление Будулая, когда он услышал, как она всего-навсего ответила старухе:

– Ты же знаешь, что об этом меня бесполезно просить.

– Ты, должно, уже забыла, Клавочка, как мы с тобой в кукурузе вместе хоронились?

И опять глубокая, затаенная боль и бессильная ярость почудились Будулаю в усталом голосе Клавдии:

– Нет, это я хорошо помню.

– Ну тогда, значит, ты забыла, как мы потом проходили мимо той разбитой кибитки и ты нашла...

После молчания чуть слышно упали ответные слова Клавдии:

– И это я помню.

– А ежели, скажем, Клава, и он как-нибудь узнает, что ты там тогда нашла?

Никакая сила не заставила бы теперь Будулая сойти с того места, где он стоял. Сердце его затаилось в тревожном предчувствии. И он вздрогнул, как от выстрела, прозвучавшего у

него над ухом, от внезапного крика Клавдии, колыхнувшего кисею занавески. Не боясь, что ее могут услышать, Клавдия кричала на весь пустырь голосом, исполненным боли и гнева:

– Вон из моего дома, проклятая старуха! Да до каких же пор я буду страдать? И за что?!

– Успокойся, Клавочка, я ведь это просто так сказала, я пошутила, – испуганно лепетала Лушилиха.

Она явно не ожидала такого исхода разговора и теперь спешила исправить оплошность. Но плотина была уже прорвана.

– Иди и говори ему! – кричала Клавдия. – Я уже ничего не боюсь! Пусть и он приходит меня терзать! Ты уже меня до последней нитки обобрала, только эту кофтенку с юбкой на мне и оставила! Вон, проклятая старуха, а то я тебя!!!

Что-то загремело в доме у Клавдии, и вслед за истошным вскриком Лушилихи хлопнула дверь. Будулай едва успел спрыгнуть под кручу и, пригибаясь, затаиться в выемке, из которой хуторские женщины брали глину, как у него над головой тяжело пробежала Лушилиха.

– Ох ты господи, ох, страсти какие! – бормотала она.

Из-под ее ног на голову Будулая посыпались комья сухой глины.

Вечером у Лушилихи, после того как она вернулась от Клавдии, был разговор с дедом. Соседка, копая позднюю картошку у себя на усадьбе, примыкавшей к лушилихинскому двору, слышала, как они о чем-то гудели у себя на кухне, но из всего их разговора сумела разобрать лишь несколько фраз. Говорили Лушилины тихо, к тому же соседка, контуженная, когда фронт проходил через хутор, взрывом немецкой авиабомбы, была глуховата.

Бабка кормила в летней кухне ужином и снаряжала деда на дежурство на задонский огород. Каждое лето Лушилин нанимался в колхоз сторожить за Доном капусту, помидоры и другие овощи, о чем обычно хуторские женщины говорили: «Пустили козла в огород!» Слова эти как нельзя более кстати подходили к деду Лушилину не только потому, что он ухитрялся, вступая за Доном в сделки с шоферами проезжих автомашин, приторговывать колхозными овощами, но и потому, что своей наружностью действительно смахивал на козла: высокий, худой до последней степени и с длинной пегой бородкой. Недаром такого же худого старого козла в хуторском стаде с чьей-то руки стали называть «дед Лушилин».

Шаркая по земляному полу летней кухни от плиты до столика, погромыхивая чашками и ложками, Лушилиха спрашивала у деда:

– Так что же теперь нам делать?

Дед помалкивал, выскребывая в чашке остатки какого-то варева. Соседка не могла знать, о чем спрашивала Лушилиха деда, но хорошо знала, что во всех случаях жизни он оставлял первое и последнее слово за своей бабкой. Он считал и всегда говорил, что у нее голова как у министра, и обычно ограничивался только тем, что поддакивал ей, подтверждая уже принятые ею решения.

Прилипнув ухом к стенке лушилинской кухни, соседка услышала, как старуха загремела конфорками и поставила перед дедом на стол что-то тяжелое. Должно быть, чугунок с вареным мясом, потому что его запах, просачиваясь из-под чакановой¹ крышки лушилинской кухни, уже давно щекотал ноздри соседки. Она сглотнула слюну...

И всегда у Лушилиных было на столе что-нибудь мясное!

– Молчишь, – презрительно сказала в кухоньке Лушилиха, – а небось поросятинку уважаешь! А где ее теперь брать?

Только после этого дед Лушилин нарушил молчание и примирительно заметил:

– А может, Пашенька, она еще того, одумается?... Вот поглядишь, она сама же к нам прибежит.

¹ Чакан – речной тростник.

В ответ Луцилиха решительно заявила:

– Как же, жди! Ты бы поглядел, как она на меня пошла. Зубы оскалила. И какая гадюка ее ужалила?

Дед опять замолчал, явно предпочитая, чтобы она сама же и ответила на этот вопрос. Не мог же он одновременно заниматься двумя делами! А похрустывание в луцилинской кухоньке безошибочно свидетельствовало, что у него сейчас было куда более интересное занятие, чем отвечать на докучливые вопросы бабки.

Однако и она сегодня, по-видимому, не намерена была терпеть его молчанку.

– Я тебя спрашиваю! – И должно быть, тут же перешла к репрессивным действиям, убирая со стола чугунок с мясом. – Хватит! Натрескался!

Дед взмолился:

– Еще только крошечки! Мне ведь всю ночь на дежурстве стоять.

Чугунок опять стукнулся о стол.

– Ну, гляди, на завтра оставь.

В ответ на эту милость дед решил внести в обсуждаемый вопрос и свою лепту:

– А что, если, Пашенька, еще раз того?..

– Чего?

– Припугнуть ее. Ультиматум предъявить.

– Это какой такой ультиматум? – подозрительно осведомилась бабка.

– Так и сказать, что ежели, значит, она не того, то и другим не обязательно ее секреты соблюдать.

– Али я ей не предъявляла? Я ж тебе говорю, что она сейчас как с цепи сорвалась.

Дед подавил вздох и почти совсем перешел на шепот:

– Ну тогда, значит, остается пойти к нему.

Бабка быстро сказала:

– За это я не берусь.

– Почему?

– У него взгляд пронзительный. Нет, это ты должен сам.

– Я, Пашенька, сейчас занятый. У меня ночью дежурство, а днем ведь и отдохнуть надо.

– Ничего, весь день после дежурства спишь как суслик. – И, не давая больше ему сказать ни слова, Луцилиха перешла в наступление: – Завтра до полден поспишь – и прямо к нему. Только ты с дурной головы ему сразу все не открывай. У него хорошие деньги должны быть: он и с войны, должно, не с пустыми руками пришел. – Инструктируя деда, она все больше понижала голос, и любопытной соседке приходилось все больше влипать ухом в глинобитную стенку кухни. – Ты ему сперва только самую махонькую щелочку открой, а всего, спаси бог, не говори. Его подоить нужно.

Заинтригованной соседке страшно хотелось узнать, кого это собираются подоить Луцилиха с дедом. Перемещаясь вдоль кухни поближе к тому месту, где бубнили Луцилины, она не удержала равновесия и, покачнувшись, зашуршала по стене растопыренными руками. Лопата выпала у нее из руки, шлепнулась о землю.

Тотчас же в кухне у Луцилиных установилась мертвая тишина, и потом голос бабки с преувеличенной громкостью произнес:

– Ты же гляди, дедуня, получше стереги, сейчас охотников до колхозной капусты много развелось. Особенно доглядай за шоферами, какие мимо огородов едут. Это самые первые воры и есть.

– Да уж это так, – подтвердил дед.

Страшась полного разоблачения, соседка, подхватив лопату, где ползком, а где на полусогнутых ногах добежала до другого угла двора и опять усиленно стала копать картошку. Вскоре голова Луцилихи в зеленом платке заглянула к ней через плетень.

– Доброго здоровьица, Ананьевна! Копаешь?

– Копаю, Семеновна, копаю, – не поднимая головы, ответила соседка.

– А у нас в нынешнем году картошка вся чисто погорела, самая мелкота уродилась, как горох. Не знаю, с чем я буду своему деду борщ варить.

Соседка искренне посочувствовала Луцилихе, они еще перебрались через плетень несколькими словами, и каждая опять занялась своим делом. Луцилиха через полчаса проводила деда по стежке до самой лодки и стояла на яру, провожая его глазами, пока он не причалил к левому берегу и не скрылся под вербами. После этого она ушла к себе в дом и заперлась на засов. А соседка, закончив копать картошку и перетаскав ее ведрами в земляной погреб, тоже ушла в дом и легла на кровать, раздумывая над теми словами, что сегодня донесли до нее из луцилинской летней кухни. Ей очень хотелось доискаться смысла этих слов, и она долго лежала, пытаясь связать в единое разрозненные фразы подслушанного разговора, размышляя над тем, кого из хуторских женщин и мужчин имели в виду Луцилины. Но это ей оказалось не под силу. К тому же эта немолодая женщина, копая картошку, притомилась за день, глаза у нее слипались, и она вскоре уснула. На морщинистом лбу у нее, освещенном светом молодого месяца, так и осталась складка.

Так крепко уснула она, что даже не услышала, как вскоре свирепо взлаял у нее во дворе, загремел цепью чуткий Дружок.

Проводив деда за Дон и закрыв, по обыкновению, дверь на чугунный засов, Луцилиха повернула ручку радиоприемника, чтобы узнать на сон грядущий, что происходит в окружающем мире. В окно постучали. За голосом радио Луцилиха первого стука не услышала, а когда постучали во второй раз, обрадовалась, подумав, что, оказывается, иногда и ее дед может говорить умные вещи. Вероятно, Клавдия и в самом деле успела опомниться и теперь прибежала с повинной.

В полной уверенности, что, кроме Клавдии, некому больше стучаться в их дом в этот поздний час, она отодвинула засов и отшатнулась. На пороге ее дома, облитый светом молодого месяца, стоял цыган.

Если бы она знала, что открывает дверь такому гостю! Увидев Будулая, она, что называется, остолбенела. Ее первым движением было тут же захлопнуть дверь, но Будулай легко отодвинул ее плечом и вошел в дом. Тогда, придушенно вскрикнув, она бросилась в комнаты к небольшому, окованному полосовым железом сундучку, где, как говорили в хуторе, хранились немалые деньги, нажитые Луцилихой и ее дедом. Добежав до сундучка, она плюхнулась на него, поворачиваясь лицом к Будулаю и намереваясь, несмотря на испытываемый страх, защищать свое достояние грудью.

– Успокойся, – сказал Будулай, проходя вслед за ней в комнату и без приглашения опускаясь против Луцилихи на табурет. – Мне не твои деньги нужны, я тебе могу своих дать. Мне нужно, чтобы ты рассказала все, что знаешь.

– Ничего я такого не знаю, – быстро сказала Луцилиха.

– Нет, знаешь, – твердо повторил Будулай. – Ты понимаешь, о чем я говорю. Ну?

Он говорил спокойно, без малейшей угрозы, но бывают такие интонации, которые действуют сильнее всякой угрозы.

Черные глаза цыгана, взгляда которых так боялась Луцилиха, в упор смотрели на нее. Никого не было в доме, кроме нее и Будулая. Из невыключенного приемника лилась негромкая музыка, падала на пол полоса слабого света.

И, сотрясаемая на сундуке непреодолимой дрожью, Луцилиха стала ему рассказывать...

Будулай ни разу не перебил ее и даже не пошевелился. Ни тогда, когда Луцилиха рассказывала ему, как они вдвоем с Клавдией Пухляковой, спасаясь от артиллерийских снарядов и от немецкой бомбежки, поднялись из хутора в степь, чтобы спрятаться там в кукурузе, и увидели на прогалине одинокую цыганскую кибитку... Ни тогда, когда Луцилиха присовокупила

к этому, что кибитка, должно быть, по какой-то причине отстала от своего табора, уходившего от немцев на восток. Уже потом, прячась с Клавдией в кукурузной чаще, они сумели разглядеть оттуда, что сбоку кибитки лежала на разостланном одеяле молодая цыганка, а возле нее суетился высокий седой цыган, завертывая в цветные тряпки новорожденного младенца.

В этот момент и вывернулись из-за Володина кургана танки от станицы Раздорской.

Будулай слушал молча. Голова его с кудрявой бородкой и плечи купались в ручье месячного света, падавшего из окна в комнату, а на груди из-за расстегнутого пиджака мерцали ордена. Не пошевелился он и тогда, когда Луцилиха стала рассказывать, как самый передний немецкий танк вдруг развернулся и наехал на цыганскую кибитку. Тут беременная Клавдия и разрешилась преждевременно в кукурузе дочкой.

В продолжение всего рассказа Луцилихи цыган тяжело горбился на табуретке, опустив голову, и она просмотрела тот момент, когда он после ее слов о том, как закричала цыганка, внезапно резко качнулся и свалился лицом вперед с табурета. Уже на полу он перевернулся на спину и вытянулся во весь рост в полосе бледно-голубого света.

Потрясенная Луцилиха, бросив на него взгляд, решила, что он скорострительно умер у нее в доме, и, закричав дурным голосом, опрокидывая ведра, кинулась из комнаты к соседке.

У соседки племянник был контужен на фронте, и она знала, что нужно делать, когда у человека припадок. Прибежав к Луцилихе, она кухонным ножом растворила цыгану крепко сцепленные белые зубы и влила в рот полстакана молока. В горле у него забулькало, он захлебнулся и, открывая глаза, тут же пружинисто вскочил на ноги, опираясь одной рукой об пол.

Соседке страшно не терпелось узнать, каким образом Будулай мог очутиться в доме у Луцилиных в такой поздний час и что такое из ряда вон выходящее могло произойти, если это завершилось для него таким припадком. Но Будулай, едва оказавшись опять на ногах, движением руки молча указал соседке на дверь, и ей ничего иного не оставалось, как повиноваться. Обиженно поджав губы, она удалилась.

Луцилиха тоже ринулась было вслед за ней, страшась снова остаться наедине со своим непрошеным гостем, но Будулай остановил ее:

– Нет, ты мне еще не все рассказала. Ты еще должна рассказать, что было после. – И, видя, что она молчит, глядя на него расширенными ужасом глазами, заверил ее: – Ты не бойся, это со мной больше не повторится.

И опять что-то было в его тихом голосе и в устремленном на нее взгляде такое, чему она не в силах была противоречить.

– После этого мы с Клавдией пролежали в кукурузе почти до самого вечера, а когда стали обратно спускаться в хутор и проходили мимо того места, тут она его и увидела.

– Кого? – в упор взглядывая на Луцилиху своими пронзительными черными глазами, спросил цыган.

– Младенца, – непритворно всхлипывая, ответила бабка. – Все там было перепахано, вся трава была в крови, а он лежал, завернутый в тряпки, сбоку. Его, должно, или танкой отбросило, или же старик успел откинуть его от себя перед смертью. Ну, Клавдия взяла его и принесла домой вместе со своей дочкой.

Если бы Луцилиха осмелилась при этом поднять глаза на цыгана, она немедленно убедилась бы, что ей совсем нечего его бояться. Слезы струились по его черному лицу, освещенному месяцем, и крупными каплями повисали на его кудрявой бородке. А потом кочующий по небу месяц уже завернул за угол дома, на лицо цыгана надвинулась тень, и его слезы так и остались для старухи тайной.

– Вот возьми, – сказал он, протягивая ей какой-то небольшой мягкий сверток.

Она отшатнулась:

– Это что?

– Тут десять тысяч. Это все, что у меня есть. Тысячу рублей возьмешь себе, а остальные отдашь ей.

– Кому? – ощупывая руками сверток, спросила Лушилиха.

– Клавдии Пухляковой.

– А как она не захочет взять? – спросила Лушилиха.

– Должна взять. Это деньги не только ее. Смотри, старуха, отдай, я все равно узнаю. И скажи ей, чтобы она меня больше не боялась. Я сделаю так, что ей теперь не нужно будет меня бояться. И ты, старуха, смотри, ее больше не терзай. Пусть она живет с детьми спокойно.

Лушилиха не успела открыть рта, чтобы спросить у него, почему это она должна отдавать эти деньги, в то время как лучше всего будет сделать это ему самому, – и для нее в таком случае не будет соблазна. Но он уже вышел. Она не успела даже сосчитать деньги. А наутро она узнала, что цыган Будулай вообще уехал из хутора так же внезапно, как появился.

На ранней заре, когда еще только начинало зеленеть небо над задонским лесом, сторож полевого колхозного стана, возвращаясь с ночного дежурства из степи домой, разминулс с ним на повороте дороги, огибающей красную глиняную кручу. Сторож спускался по дороге налегке, с двустолкой на плече, а Будулай, поднимаясь из хутора в степь, катил за руля в гору велосипед. Поздоровавшись, сторож посмеялся:

– Еще неизвестно, кто на ком больше ездит.

В ответ на его приветствие Будулай коротко кивнул и прошел мимо. Оглядываясь, сторож заметил у него за плечами вещевой, армейского образца мешок и на раме велосипеда – прикрученный телефонной проволокой сундучок с ручкой. Впору было подумать, что человек навсегда покидает хутор.

Остановливаясь, сторож только собрался расспросить об этом самого Будулая, как тот завернул за кручу.

Сторож не ошибся. Будулай поднялся на бугор в степь и, перед тем как сесть на велосипед, остановился у одинокого холмика земли – у могилы, обнесенной новой, еще не покрашенной оградой. Солнце, не успев показаться над задонским лесом, а только просияв сквозь его осенние ветви, уже зажгло на могиле маленькую звездочку и слегка позолотило гривы лошадей, вкованных в решетки ограды. А внизу, под горой, хутор еще был укрыт тенью.

Будулай нашел глазами самый крайний дом, у колхозного виноградного сада. Нет, то, что могло бы сейчас заставить его изменить свое решение и вернуться туда, где стоял этот дом, было несбыточно, неосуществимо. Он это хорошо понимал. Он до сих пор не мог забыть ее возгласа «ой!» и ее побледневшего лица, когда она встретила с ним в задонском лесу на тропинке.

И ничто отныне не должно будет омрачать ее покой и счастье. Она их заслужила. Было бы чудовищно, если бы он отблагодарил ее подобным образом за все то, за что он будет благодарен ей до конца жизни. Он знает, что нужно сделать, чтобы ее никогда больше не мучил страх. Он сделает для этого все, что от него зависит.

А эту ограду покрасит без него Ваня.

Часть вторая

Наверняка можно сказать, что, сколько бы ни нанизывались на асфальтовые нити больших автодорог неоновые радуги всевозможных закусовых, ресторанов и кафе, сердце шофера, как и прежде, будет отдано не им, а все тем же одиноким хижинам на окраине сел и станиц, на которые, обшаривая по непогоде степь, неизбежно набредают фары. Не потому ли, что как раз и прорезываются сквозь завесу снега или дождя окна этих хижин в тот самый момент, когда в борьбе со стихией вконец изнемогли и твоя машина, и ты сам – и у нее, и у тебя что-то внутри уже не стучит и даже не всхлипывает, а только вздыхает и скулит: вот-вот порвется. И не потому ли еще, что потом, при твоём возвращении из-под гостеприимного крова к своему самосвалу, оставленному у ворот, тебе не угрожает, что прямо перед тобой вдруг вынырнет, как из страшной сказки, кто-нибудь из тех, с кем ты всю жизнь находишься в состоянии необъявленной войны, и, принявшись, вкрадчиво приложит пальцы к козырьку фуражки, оперенной красным кантом: «Права!»

Если же непогода на всю ночь, то и у ворот такой придорожной заезжаловки иногда сбивается не менее полудюжины автомашин и стоят, подкрашивая пурпуром стоп-сигналов ночную тьму, пока не развиднеется или же не подойдет какой-нибудь тягач. За окном ливень или пурга, а здесь, в хижине, сухо, тепло, на столе вино и все остальное, включая только что вынутый из бочки ажиновский моченый арбуз, и рядом за столом твои товарищи, такие же шоферы, а иногда, если повезет, окажется среди них и тот, с кем вместе наматывали на спидометр памяти все дороги войны, и теперь, если их разматывать, надо вместе посидеть не одну ночь. Если хозяйка не из закоренелых, то из угла комнаты еще и светится экран, и под удары степного ветра еще даже лучше, чем дома, послушать ту же Людмилу Зыкину или посмотреть чемпионат мира по хоккею из Праги. И тому, кого застигла посреди ночи непогода, веселее ее в хорошей компании пережить, и хозяйке неплохо. В предвкушении выручки она так и мечется, так и пляшет между столом и печкой.

Но в этот августовский вечер ничто не предвещало тех перемен в погоде к худшему, из которых, оказывается, можно извлекать и выгоду. И даже шофер одной-единственной за весь день машины, притормозившей у ворот домика на окраине поселка, видимо, никак не мог прервать своего рейса. Он только на минуту приоткрыл дверцу кабины, чтобы высадить свою пассажирку, и тут же нажал на железку.

– Говорят, бабушка, вы на ночлег пускаете?

– Кто это тебе сказал?

– Шофер. Который меня подвез сюда.

– И надолго тебе?

– Нет, только до утра.

– А утром ты, что же, дальше поедешь?

– Как вам сказать. Может, дальше, а может...

– Не хочешь, так и не говори. Мне чужих секретов не нужно, это я просто так спросила.

Женщина, как видно, попала не из разговорчивых, и хозяйка расспрашивать ее больше не стала. Спешить некуда. Обознакомится и сама все расскажет.

– Я за ночь по рублю беру. – И хозяйка пояснила, отдергивая цветастую желтую шторку: – У меня простыня и наволочки всегда стиранные, я их после каждого постояльца меняю.

Женщина коротко ответила:

– Хорошо.

– Но если для тебя дорого, тут через два дома Анфиса Мяконосова по пятьдесят копеек берет, – сочла необходимым предупредить хозяйка. – Без телевизора. – И великодушно предложила: – Могу проводить.

– Не нужно, бабушка.

– Ну, тогда раздевайся. Тебя как величать?

– Дома меня зовут Петровной.

– Для Петровны ты еще молодая. Ты с какого года?

Приезжая женщина то ли не расслышала, развязывая концы туго затянутого на подборке зеленого платка, то ли не захотела отвечать, и хозяйка попеняла:

– Скрытная ты. А я с моими постояльцами поговорить люблю. Мне при моей одинокой жизни иначе нельзя, я, может, из-за этого и надумала к себе постояльцев пускать. С одним поговоришь, с другим – и знаешь, как кругом люди живут. Если бы я знала, что ты такая, я бы и не пустила тебя к себе, но теперь уже ничего не поделаешь, раздевайся и садись. Петровна так Петровна, а меня, значит, Макарьевной зови. А может, ты сразу, с дороги, и отдохнуть захочешь? У меня это как раз есть и женская койка. Тут, за трубкой, спокойно и ничего не видно, когда за столом мужчины сидят. Для них я за той занавеской три места держу. – И она отдернула на другой половине комнаты другую шторку, за которой рядом стояли три узкие койки. – Когда в степи пурга, они у меня и по два на одной койке спят. Тогда и я с человека по пятьдесят копеек беру. А за стенкой в зале у меня постоянно одна молодая цыганочка живет. Но сейчас ее дома нету.

У приезжей женщины, укрепляющей рассыпавшийся венец темно-русых волос, замедлились движения рук, и она повернулась к хозяйке. Та успокоила ее:

– Да ты не пугайся. Я раньше тоже цыганов боялась, а теперь сблизилась, рассмотрелась, что среди них тоже разные люди есть. У нас их тут, как им запретили кочевать, понаехало много, есть и бродяги – так и норовят прихватить под сюртук что плохо лежит, – а от их ворожей попервости и не отобьешься, но теперь ничего: пообвыкли и от местных жителей отстали. Командируются на промысел в чужие места. Но моя квартиранточка Настя, видно, к этому непривычная. Грамотная и за квартиру всегда за месяц вперед отдает. – И только тут словоохотливая хозяйка спохватилась, что она совсем заговорила новую постоялицу. – Да ты, Петровна, если притомилась в дороге, не стесняйся, ложись.

– Я не устала.

– Ну, тогда давай с тобой поснедаем.

– Я уже, бабушка, пообедала.

Но хозяйка так и замахала на нее руками:

– Об этом и слухать не хочу. У меня не какая-нибудь шкуродеровка, и по рублю я не за одну же постель беру. Садись. У меня сегодня лапшица с куренком, а на второе я плаценду спекла. У вас дома плаценду пекут?

– А что это такое?

– Сама узнаешь. Это навроде слоеного пирога со сладким кабаком, но еще вкуснее. Не стесняйся, садись.

– У тебя детей много?

– Двое.

Хозяйка обрадовалась:

– И у меня двое. Девочки. Теперь обе в городе живут. Как повырастают, выскочат замуж, так, считай, и нет у тебя больше детей. Они и ласковые у меня, а все равно при матери не захотели жить. Мы с покойным мужем хотели еще и мальчика иметь, но не привелось. А у тебя?

– Девочка и... – женщина только чуточку помедлила, – мальчик.

Но от многоопытного взора хозяйки и это промедление не могло укрыться:

– Ты что-то вроде заикнулась. Не обижает он тебя? Бывают сыновья оторви да брось. У нас тут один, Васька Пустошкин, как напьется, так на родную мать с кулаками лезет, из дому гонит. А как протрезвеет, опять, правда, ничего.

Но приезжей, видимо, захотелось поскорее внести в это ясность, и она твердо сказала:

– Нет, мой не обижает меня. Он совсем другой.

– Ну и слава богу. Вот и хорошо, – сказала хозяйка. – Вот только я не знаю, Петровна, как мне с тобой быть. Вечер у меня сегодня занятый, у нас в клубе товарищеский суд, а ты хоть, видно, и хорошая женщина, но для меня чужая, и не могу же я вот так сразу, с бухты-баряхты на тебя все свое достояние кинуть. Оно у меня не дармовое. Ты на меня не серчай.

– Я не серчаю. Хорошо, я пока могу где-нибудь на дворе побыть. На улице походить или за воротами на лавочке посидеть.

– Нет, это не годится! – сразу же отвергла хозяйка. – Что же это ты будешь на улице, чисто какая-нибудь сирота, слоняться. – Глядя на постоялицу, хозяйка колебалась: – Я вижу, ты женщина честная... – Но тут же, очевидно, более практические соображения одержали в ней верх над иными, и она вдруг предложила: – А то, может, и ты на это время со мной пойдешь? – И, не давая женщине возразить, убеждающе заговорила: – Ты нисколько не пожалеешь. У нас тут на товарищеский суд все лучше, чем в кино, любят ходить. Из-за одного председателя Николая Петровича стоит пойти. Хоть и пенсионер, а любит справедливость. – И она снова заколебалась: – Но если, конечно, ты наморилась с дороги...

– Хорошо, бабушка, я пойду, – быстро сказала женщина.

Хозяйка повеселела:

– Вот и спасибо. Я и сама, признаться, дюжей, чем, бывало, в церкву, люблю туда ходить. Мы тут в степи далеко от станицы живем, артисты из города к нам не ездят, и по телевизору то одним футболом, то хоккеем душат. А на товарищеском суде и поплакать, и посмеяться можно.

– Что же ты так мало ешь? Али не нравится моя лапша?

– Нет, лапша хорошая.

– Спасибо, что похвалила, будто я и сама не знаю. Мои постоянные клиенты, шофера и другие проезжие, всегда ее требуют. А ты еле поворачиваешь ложкой.

– Просто мне с дороги что-то не хочется.

– С дороги люди всегда лучше едят. Ну, если не хочешь лапши, то давай с тобой плаценду есть. – И хозяйка метнула с кровати на стол завернутую в пуховый платок тарелку и развернула ее. – Я ее в летнице спекла, еще горячая. Сейчас я из погреба свежей сметаны достану.

Но постоялица остановила ее движением руки:

– Не беспокойтесь, пожалуйста. Я больше не буду есть.

– Ну как хочешь. А может, ты обиделась на меня?

Приезжая женщина с искренним удивлением подняла от стола глаза:

– За что?

– А что я побоялась на тебя свою квартиру бросить. Но ты и сама в мое положение войди. Мы тут всегда жили без запоров и замков, хаты и погреба держали раскрытыми, и, слава богу, у нас не было никакого воровства, пока не понаехали эти цыгане. И какой только черт их в наши табунные степя пихнул. Нет, я ничего такого напрасно не могу про них сказать, и, говорят, они там, где живут, не позволяют баловства, такой у них закон, но только под видом цыганей теперь кое-кто и из своих повадился по сараям и погребам шуршать и чужие нажитые денежки в сундуках считать. Мне-то бояться нечего, я свои, если заводятся, на книжку кладу, там на них и проценты текут, но не побежишь же на почту каждый божий день. Так что уж ты, пожалуйста, не обижайся на меня.

Постоялица отодвинула от себя тарелку на столе:

– Я и не думала, бабушка, обижаться. С чего вы взяли?

– Ну и хорошо. Значит, давай будем собираться. Я толечко другую кофту надену, и можно выходить. Время уже не маленькое, да и клуб отсюда далеконочко; пока мы до него дотелепаем, оно и будет как раз. У тебя с собой в узелке никакой другой одежды нет?

– Я в этой пойду.

– И то ладно. Ты еще молодая, и тебя тут никто не знает, а мне нельзя. У меня может клиентура пострадать. Сейчас я новую кофту надену, и пойдем.

Еще не совсем стемнело. Белые домики поселка, как пиленный сахар на зеленой скатерти, лежали посреди табунной степи, со всех сторон доступные взору.

– У нас тут ровнехонько, кругом видать, – хвалилась по дороге хозяйка.

Несмотря на то что все, что только могло подлежать плугу, распаханно было за эти последние годы, не исключая и задонских табунных земель, и на конскую колбасу – на казы, – пошли косяки заарканенных на луговом приволье полудиких лошадей, кое-где еще оставались посреди буйно зеленого разлива одинокие острова конных заводов и иногда еще можно было увидеть в степи золотистым облаком пропорхнувший по кромке табун жеребцов и кобылиц, еще не попавших в поле зрения «Заготскота». Забрызганный росой и солнечной пылью, вынырнет из высоких зеленей, прядая ушами, и тут же нырнет обратно. Только силуэт верхового табунщика и будет двигаться, отбрасывая гигантскую тень, по предвечернему сизому лугу.

Вот и стягивались сюда, к этим островам, обложенным со всех сторон гулом тракторов, из окрестных придонских степей те, у кого до того вся жизнь прошла при лошадях и чье сердце теперь уже, вероятно, до конца своих дней не смогло бы освободиться из этого добровольного плена. И те старые табунщики с перепаханных под кукурузу лугов, которые решили, что им уже поздно переучиваться на воловников и дояров; и те вышедшие на пенсию ветераны казачьих дивизий Селиванова и Горшкова, которые так и не смогли смириться с мыслью, что конница уже навсегда отжила свой век. А вместе с ними и отлученные от лошадей по иной причине цыгане.

– Ты, Петровна, только приглядишься. Сразу можно угадать, где они живут, – говорила хозяйка.

Но ее спутница и сама уже в этом убедилась. И не только потому, что там, где жили цыгане, обязательно из конца в конец двора тянулась веревка и на ней, как знамена, проветривались на вольном воздухе красные, синие, оранжевые и всевозможных неслыханных цветов и оттенков одеяла. Но и потому, что неполотые лебеда, татарник, осот выше заборов стояли в этих дворах, а из-за плотно закрытых дверей сарайчиков, проходя мимо, можно было услышать и то, как отфыркиваются кони, которых хозяева, вероятно в надежде на лучшие времена, прятали от чужих взоров. Но разве можно было их до конца спрятать? Тем более что по привычке или же по своей беспечности цыган нет-нет и забудет на колышке забора то ли вожжи, то ли уздечку, а иногда где-нибудь посреди двора и дугу. И ни с каким же иным не спутаешь этот смешанный теплый душок, которым потягивает из-за забора. Так могут пахнуть только конский навоз и степное сено.

И на большой улице, прорезавшей поселок конезавода с севера на юг, среди людей, тянувшихся все в одном и том же направлении – к сверкающему на закате окнами из зелени тополей зданию клуба, – нетрудно было угадать цыганок и цыган, хоть и одетых, казалось бы, в то, во что одевались и все остальные, но все же в каком-то таком сочетании цветов, что те же самые кофты и юбки у женщин выглядели неизмеримо ярче и такие же, как на других, пиджаки и брюки у мужчин оказывались иными. Не говоря уже о платках и шляпах, которые никто иной не сумеет так повязать и заломить, как цыганка и цыган.

Большая площадь, упиравшись в которую улица раздваивалась на рукава, обтекая ее вместе с клубом, как река обтекает остров, уже почти забита была автомашинами и мотоциклами, но и не только ими, а и верховыми лошадьми, с которых спешивались подъезжавшие с отделе-

ний конезавода табунщики, зоотехники, ветеринары. Спешиваясь, они накрепко привязывали лошадей к стволам тополей и акаций, потому что это все-таки были не какого-нибудь, а табунного содержания лошади, полуобъезженные и только привыкающие ходить под седлом. Натягивая ремни поводьев, они так и норовили порвать их и тут же упорхнуть в степь, по которой вокруг поселка катались из края в край различаемые их чуткими ушами копытные внешние громы табунов, пасущихся на приволье. И не вокруг машин и мотоциклов, как это обычно бывает в сельской местности у клубов в часы стечения народа, а вокруг них, бунтующих на привязи, очарованно собирались люди, чтобы перебрать с головы до копыт по косточке и по шерстинке, не с поверхностным, а с придирчивым знанием оценивая и неоспоримые их достоинства, и возможные изъяны. Впрочем, только самому опытному взору и дано было найти изъяны, а вообще-то, казалось, и не может их быть под этой выкупанной росами и вылощенной ветром и солнцем шкурой, розовеющей теперь под закатным солнцем. И все это была донская элита. Все новые и новые верховые подъезжали из степи. И вот уже вся площадь пофыркивала, стучала копытами, прядала ушами. Колыхались над нею длинные глазастые морды. Вот где можно было смягчиться взору, истосковавшемуся по лошадям в век всеобщего торжества моторов.

Хозяйка придорожной корчмы заметила, как даже ее молчаливая спутница не осталась равнодушной, когда наискось от них, через площадь, так и взвился на дыбы еще под одним подскакавшим из степи всадником конь и некоторое время даже потанцевал на месте, пока хозяин – какой-то цыган – не утихомирил его.

– Кто это? – спросила приезжая у хозяйки.

– Должно, какой-ся из табунщиков, – ответила хозяйка. – У меня, жалкая моя, к вечеру зрения совсем стала слабеть, а тут через всю площадь и вовсе не вижу. Одна мошकारа перед глазами и вроде бы радуга. – И тут же она вдруг обрадованно ринулась вперед. – А вот эту я очень даже хорошо вижу. Сейчас я и тебя с ней познакомлю. Это и есть моя квартирантка Настя.

Но они не успели. Из-за угла, из проулка, вывернулась и, круто осадив свой мотоцикл у самого крыльца клуба, быстро взбежала по его ступенькам девушка в оранжевой кофточке и в синих брюках. Большие карманы так и лепились на них со всех сторон. И местные женщины, и цыганки, цветным кружевом опоясавшие подножие крыльца, молча расступались, давая ей дорогу и провожая взглядом. Когда она, вся какая-то прямая и тонкая – но не в бедрах, а в поясе, – взбежала по ступенькам, узкие, с рубиновым кантом по швам модные брючки с каждым ее шагом натягивались, казалось, вот-вот лопнут. Но она, ничуть не опасаясь этого, взбежала на самый верх, все так же прямо, даже чересчур прямо держась и чуть-чуть, почти надменно, откинув назад черноволосую голову, так и не взглянув по сторонам. Это-то, вероятно, больше всего и задевало расступившихся перед нею женщин, среди которых отдельной кучкой стояли цыганки. И одна из них, молодая и полная, не удержалась:

– Настя уже и на людей не глядит. Выше голов летает.

Девушка мгновенно обернулась на самой верхней ступеньке, и глаза ее, обежав толпу женщин, безошибочно выхватили из нее эту цыганку.

– Это ты, Шелоро? А я и не знала, что ты уже вернулась из своего коммерческого рейса.

Легкая, как от брошенного в воду камня, зыбь всколыхнула толпу женщин, и молодая полная цыганка, принимая вызов, выступила из нее, не переставая шелушить большой, надломленный с края круг подсолнуха и не глядя, с привычной ловкостью забрасывая себе в рот семечки.

Она притворно ужаснулась:

– Ах, ты уж, пожалуйста, извиняй меня, Настя, что я позабыла тебе доложить.

– Ничего, Шелоро, ты еще успеешь отчитаться об этом там. – И движением подбородка девушка повела в сторону раскрытых настежь дверей клуба и, не задерживаясь, тут же скрылась в них.

А вслед за нею, как будто до этого ее одной только и не доставало здесь, как по команде, хлынули в клуб все остальные.

Под потолком, медленно накаляясь от движка, застучавшего на окраине поселка, забрезжили все сто матовых свечек большой люстры и затопили желтоватым полководьем неяркого света заполненный людьми зал клуба. Не успевшие захватить места на откидных стульях располагались стоя вдоль стен, а ребяташки устраивались прямо на полу.

За столом встал председатель – темнотищый, с ежиком жестких, как проволока, седых волос учитель-пенсионер Николай Петрович, и на пиджаке у него, сталкиваясь, колыхнулись медали на муаровых подвесках.

– Уважаемые заседатели товарищеского суда приглашаются на свои места, а защитник с обвинителем – на свои.

Хозяйка придорожной хижинки-корчмы, поясняя, наклонилась к постоялице:

– У нас все честь по чести, хоть называется товарищеский суд. Николай Петрович не любит, чтобы абы как.

Мужчина с ковыльно-белыми, но еще не завядшими, а молодечески подкручиваемыми кверху усами и женщина с иссеченным морщинами, грустным лицом учительницы поднялись из первого ряда по ступенькам на сцену и сели по обе руки от председателя за столом, покрытым сукном мышастого цвета. Хозяйка корчмы и тут проворчала над ухом у соседки:

– Уж не догадались для этого дела какого-нибудь другого матерьялу набрать. Я каждый раз как на эту серую шкуру взгляну, так сразу же и немецкие шинели вспоминаю. А вот и моя Настя на свое прокурорское место идет. – И она больно ткнула постоялицу под ребро костяшками пальцев.

Девушка в оранжевой кофточке и в синих брюках, колыхая на затылке жгутом черно-смолистых волос, перехваченных белой ленточкой, спустилась по проходу из глубины покатога зала и села перед столом президиума в первом ряду.

– Несмотря что в штанах, она и своим цыганам спуску не дает.

– А это с ней рядом кто? – спросила постоялица.

– Тоже цыган. Прокурор и защитник у нас цыгане, а суд – весь русский. Вот подожди, как она еще с ним резаться начнет.

– А Василия Пустошкина мы попросим на свое... – И, не договорив «место», председатель Николай Петрович пояснил остальное гостеприимным жестом в сторону одинокой скамьи, стыдливо приютившейся между первыми рядами и сценой.

Обыкновенную лавку, сколоченную из досок и перекладин, должно быть, только в эти судные дни и вносили сюда. И человеку, очутившемуся на ней, вероятно, не очень-то уютно было чувствовать себя здесь как между двух огней – между неукоснительным в своем следовании всем правилам судебной процедуры столом президиума и не менее, если не более, непреклонной, а чаще всего и беспощадной публикой. Вот почему теперь не очень-то спешил занять ее и тот здоровенный, с круглыми детскими глазами Василий Пустошкин, которого столь широким жестом приглашал председатель. Но в конце концов увещевания Николая Петровича подействовали, и от самого входа, где Пустошкин стоял, прислонившись могучим плечом к дверной притолоке, он медленными и как будто заикающимися шагами направился через весь зал к злополучной лавке. Николай Петрович отечески подбадривал его:

– Иди, Вася, иди. Не стесняйся.

И публика, поддерживая председателя, сопровождала Пустошкина репликами вплоть до самого места:

- А за курочками, Вася, ты попроворнее бегал.
- Нет, он их сонными брал.
- Садись, Вася, на лавочку и не падай.
- Она по нему давно плачет.
- Любишь курятинкой закусывать, люби и косточки считать.

И вплоть до того самого момента, пока не плюхнулся он на скамью, его неотступно сопровождал этот враждебно-насмешливый огонь. Опускаясь на лавку, он опустил и голову, согнул плечи. Однако и здесь он меньше всего мог надеяться, что его оставят в покое. Сразу и все тем же учительски-дружелюбным тоном Николай Петрович попросил его:

– А теперь, Вася, ты, пожалуйста, расскажи нам, как ты к бабушке Медведевой в курятник залез.

Но тут Вася Пустошкин с недоумением поднял голову и чистосердечно-прямо взглянул на своего бывшего школьного учителя детскими голубыми глазами:

– Я, Николай Петрович, в курятник к ней не лазал.

Николай Петрович, судя по всему, был крайне удивлен:

– Вот как! А мне, Вася, люди наговорили, что будто бы это ты у бабушки Медведевой цыплят взял. Значит, наклеветали на тебя.

Хозяйка придорожной корчмы пообещала постоялице:

– Сейчас начнется первое действие спектакля. Николай Петрович всегда любит издалька.

– Значит, Вася, это кто-то другой у бабушки Медведевой цыплят покрал?

Могучую грудь Василия Пустошкина колыхнул глубокий вздох.

– Нет, Николай Петрович, я.

– Тогда ты, пожалуйста, нам получше все это поясни. Вот и другие члены суда тоже хотят знать.

И члены товарищеского суда, с которыми при этом по очереди переглянулся Николай Петрович, солидно покивали ему головами.

– Они у нее летом не в курятнике, а во дворе на большой груше спят, – застенчиво пояснил Вася.

– И поэтому тебе тоже пришлось за ними на грушу полезть... – с явным сочувствием в голосе подхватил Николай Петрович. – А ветка возьми и подломись. Ты не помнишь, Вася, какой у тебя вес?

Вася вдруг застыдился так, что девический розовый румянец выступил у него на скулах.

– Сто один.

– Ну и в мешке с цыплятами было, по-твоему, килограммов двадцать или нет?

Но здесь Вася почему-то впервые решился твердо возразить:

– Меньше.

– Тогда нам придется с тобой точно посчитать. В мешке, как ты знаешь, было двадцать цыплят, а потерпевшая бабушка Медведева утверждает, что на ее безмене они вытягивали по килограмму. Правда, мамаша?

Тоненький, дребезжащий голос ответил Николаю Петровичу из полутьмы зала:

– Я их, родненький, одной пашеничкой кормила.

С учительской укоризной в голосе Николай Петрович пожурил Пустошкина:

– Тут тебе, Вася, надо было лучше посчитать.

И тоже, как на уроке в школе, Пустошкин с подкупающей искренностью заверил своего старого учителя:

– Я, Николай Петрович, хорошо посчитал. Но я же им всем еще на груше головки поотрывал.

Смешок, как первый снежок, давно уже срывался и перепархивал по рядам в зале, но аудитория пока еще явно сдерживалась, по тону и по всему поведению Николая Петровича

предвкушая, что главное наслаждение вечера ожидает ее впереди. И надо пока преодолевать в себе этот поднимающийся откуда-то из самой глубины смех, давить его и загонять обратно. Но с каждым новым ласковым вопросом Николая Петровича и новым покорным ответом Васи Пустошкина делать это становилось все труднее, и смех срывался все чаще, иногда прокатываясь по рядам сплошным гулом. Старый учитель Николай Петрович вел своего бывшего ученика Васю Пустошкина по тонкой кромке за руку, и тот послушно следовал за ним, как будто ему было уже не тридцать лет, а все еще двенадцать.

– Почему же ты, Вася, не убежал, когда упал?

– Я бы, Николай Петрович, убег, да мне память отшибло.

Кто-то из ребятишек, увязавшихся со своими отцами и матерями в клуб, звонким голосом сочувственно сообщил:

– Я эту грушу у Медведевых знаю. Дюже высо...

Но Николай Петрович при этом так глянул в зал, что последний слог у этого единственного нарушителя установленной судебной процедуры тут же и булькнул, застрял где-то в горле. Вслед за этим услышали, как в тембре вкрадчивого голоса Николая Петровича заструилась прямо-таки неземная ласка, и затаились в уверенности, что вот оно наконец-то и начинается то самое, ради чего стоило убить вечер. Вот когда можно было услышать, как тончайшими сверлами просверливают под потолком тишину налетевшие в раскрытые форточки с надворья комары.

– А теперь ты, пожалуйста, скажи нам, Вася, на что все-таки ты надеялся, когда собирался посчитать у бабушки Медведевой кур? Ты только не спеши отвечать, подумай. Ты ведь, Вася, и раньше всегда был сообразительным и должен был понимать, что за это, если попадешься, по головке тебя не погладят.

На шишковатом лбу у сообразительного тридцатилетнего Васи Пустошкина отражалась мучительная работа мысли, кожа собиралась складками и, опять расправляясь, натягивалась на кость, по красному лицу, по щекам давно уже струились ручьи пота. И все-таки он так и не мог понять, чего же хочет от него его старый учитель. Терпеливый Николай Петрович продолжал прокладывать ему мостик за мостиком для перехода через эту трясиину на берег истины.

– Ты, Вася, не нервничай и постарайся вспомнить все по порядку с той самой минуты, когда ты взял мешок и вышел из дому. Я вижу у тебя на руке часы «Победа», хорошие часы, у меня тоже такие. И когда мне нужно куда-нибудь идти, я всегда смотрю на них. Ты, Вася, посмотрел на свои часы, перед тем как выйти из дому?

– Посмотрел.

– Сколько на них было?

– Час, – расправляя на лбу морщины, твердо ответил Вася.

– И ты, конечно, догадался, что в это время у нас в поселке все уже должны были... Ты всегда был сообразительным, Вася.

И Вася не замедлил подтвердить:

– Спать!

– Правильно, – похвалил его Николай Петрович. – Потому что к этому времени в нашем поселке и танцплощадка давно уже закрыта, и все телевизоры по домам выключают. Ну а теперь давай с тобой выясним: после того как человек уйдет из дому, на что он обязательно должен посмотреть?

– На часы, – без запинки подхватил Вася.

– Нет, Вася, на этот раз ты недостаточно подумал, и я уже просил тебя не спешить. Вот я, например, когда выхожу из своего двора, то по привычке поднимаю голову и смотрю на...

– Небо! – не давая ему договорить, радостно рявкнул Вася. Эхо его голоса гулом смеха откликнулось в зале клуба, но тут же и замерло, потому что не наступило еще время для все-

властного смеха. Еще надо было дать Николаю Петровичу время, чтобы он до конца извлек право на этот смех из самых глубин послушно сидевшего перед ним Васи.

– И ты, Вася, увидел, что ночь была темная, месяц уже зашел и тебе нечего бояться. А наутро, когда бабушка Медведева должна будет хватиться своих цыплят, ей и в голову не должно будет прийти подумать на тебя, а, конечно, она подумает прежде всего на своих соседей. Ты не поможешь нам, Вася, припомнить здесь, кто в прошлом году въехал в новый домик по соседству с бабушкой Медведевой?

– Цыгане, – упавшим голосом припомнил Вася.

Может быть, впервые изнанка собственного умысла начинала открываться ему в ее истинном свете, на лбу у него усиленно задвигалась кожа, собираясь в складки и расправляясь, и глаза его с беспокойством забегали по рядам зала. Но знакомая рука продолжала вести его до конца.

– А про цыган, Вася, тебе всегда было известно, что они... Дальше, Вася, ты можешь и без моей подсказки обойтись...

И, повинувшись ему, тридцатилетний мужчина, как на уроке в школе, dokonчил:

– Курей воруют.

– Молодец, Вася. Только не «курей» надо говорить, а «кур». – И после этого ты решил, что если ты пощупаешь курочек у бабушки Медведевой, то никто, конечно, не должен будет подумать на тебя, а все могут подумать только на...

– Цыганей, – с ненавистью взглядывая на своего старого наставника своими круглыми голубыми глазами, выговорил весь красный и мокрый от только что перенесенного умственного напряжения Вася Пустошкин.

И сразу же после этого в клубе грянул такой оглушительный хохот, что казалось лопнуло небо. Зазвенели стеклянные подвески на люстре.

Навзрыд плачущими голосами люди – и мужчины и женщины – обрушили на голову Васи целый град одобрительных реплик:

– Ой, Васечка, сообразил.

– Мала детина, а ума палата.

– Пятерку ему за это поставить.

– От штрафа освободить.

– А еще брехали, будто он в каждом классе по три года сидел.

– Неправильно, значит, сидел.

– Учителя придирались.

– Это вы, Николай Петрович, затирали Васю.

– Ой, люди добрые, надо сделать перерыв.

Плачущая вместе со всеми слезами смеха хозяйка придорожной корчмы загордилась перед постоялицей:

– А что я тебе говорила?! Подожди, еще не то будет.

Но вскоре стало выясняться, что смеялась хоть и подавляющая, но только часть аудитории клуба, а другая ее часть все это время молчала. И больше того, она не просто молчала, а презрительно и даже враждебно. Вот тут-то и можно было установить, какую не столь уж незначительную часть населения этого поселка конезавода составляют цыгане. Потому что они-то, оказывается, и сохраняли молчание, все как один, не исключая и цыганок, с нескрываемым презрением наблюдая, как хохочут и беснуются все остальные. Зато ж, как только схлынула в клубе волна смеха, расплеснувшись ручейками по рядам, и вознаградили они себя с лихвой тем всеобщим торжествующим воплем, на который, пожалуй, никто, кроме них, не был способен. Все остальные в зале, услышав его, притихли. Это кричали цыгане. Изливая свои чувства, они многоцветной волной так и выплеснулись из рядов к сцене, в то время как все другие, коренные жители этого поселка, в растерянности остались на своих местах. Еще бы! Часто ли им, цыга-

нам, вообще приходится и придется ли еще когда-нибудь вознаградить себя таким торжеством за весь тот позор и поклепы, которые от века привыкли возводить на них люди? Как только где-нибудь что пропало, то, значит, украл цыган, и если кого поблизости обманули, то ищи непременно цыганку. Агрессивнее всего, конечно, теперь и стремилась выразить свои чувства эта – женская – половина оскорбленного племени. Подскакивая к оставшемуся на своем месте, на скамье, и совершенно ошеломленному Пустошкину, цыганки совали ему в лицо кулаки и брызгали на него слюной.

– Цыгане – воры, да, а ты честный, да?!

И еще что-то они кричали ему по-цыгански и, сплевывая тут же на пол и растерев это место на полу подошвой, отходили от него, изображая крайнюю степень возмущения, чтобы тут же опять вернуться к нему с воздетыми кулаками.

– Тьфу, на тебя, тьфу!! – плевалась рядом с Пустошкиным та самая молодая и толстая цыганка Шелоро, которая до этого обменялась нотами с Настей у крыльца клуба. Однако и мужчины-цыгане ни за что не хотели упустить столь редко выпадавший на их долю случай. Особенно муж той же Шелоро, столь же тщедушный и маленький, сколь внушительной была по всем своим объемам и формам его супруга. Он уже успел не меньше десяти раз подскочить к бедному Пустошкину все с одними и теми же словами: «Курочка – в мешок, а я за тебя – в тюрьму, да?!» Длинное красное кнутовище торчало у него из-за голенища сморщенного, как гармошка, сапога, полы черного и короткого ему сюртука развевались. Рыжие маленькие усики грозно топорщились на верхней губе.

Цыганские слова склублились с русскими во всеобщем гвалте. Только, пожалуй, двое из всех цыган и не принимали в нем никакого участия, оставаясь все это время сидеть на своих местах в первом ряду: Настя и ее сосед с сутуло сгорбленной спиной и низко склоненной головой, с опущенными между колен руками. С тем же презрением, с каким обходились теперь цыгане с Пустошкиным, и, пожалуй, даже с жалостью Настя смотрела на своих соплеменников, а ее сосед так ни разу за все время и не поднял головы.

Пустошкин затравленно озирался. Но и сам председатель товарищеского суда Николай Петрович судя по всему не очень-то уверенно чувствовал себя в этом окружении бренчащих цыганских мериклэ² и сверкающих черных глаз. Наверно, он и сам уже не рад был тому, что по неосмотрительности развязал эти страсти. А теперь попробуй-ка загони их обратно, если у этих так легко воспламеняющихся людей оказалась задетой их самая больная струнка. Вот когда ему приходилось убеждаться, что на старости лет он оказался не очень-то хорошим педагогом. И теперь ничего больше не оставалось, как положиться на время, в надежде, что все эти страсти улягутся сами собой. Помощи ждать неоткуда.

Внезапно Настин сосед, цыган с небольшой кудрявой бородкой, впервые за весь вечер поднял голову и что-то по-цыгански крикнул своим соплеменникам, столпившимся в просвете между первым рядом зрительного зала и сценой. Не очень-то громко и крикнул, тем более что голос у него был глуховатый, но, оказывается, все другие цыгане услышали его. И тут же весь гвалт в клубе прекратился. А еще через минуту все цыгане уже вернулись на свои места. Опять стало слышно, как сверлят тишину комары.

– Ты что это вся задрожала? – с удивлением спросила хозяйка придорожной корчмы у своей квартирантки.

– Очень холодно у вас в клубе, – ответила квартирантка.

– А мне ничего. А когда этот цыган свою аспидную бороду поднял, так даже жарко стало. И где он ее себе, такую дремучую, добыл?

Теперь и Николай Петрович мог без всяких помех продолжать заседание товарищеского суда. Однако на этот раз он, по-видимому, решил воздержаться от любых неосторожных шуток,

² Монисто.

чреватых опасностью нежелательного взрыва. Еще не вполне оправившийся от растерянности голос его, когда он вновь поднялся за столом, прозвучал чуть смущенно и серьезно:

– Есть, граждане, мнение по данной мелкой краже прения сторон не открывать, поскольку обвиняемый Пустошкин, помимо чистосердечного раскаяния и полного возмещения убытков потерпевшей бабушке Медведевой, добровольно согласился внести положенный штраф в сумме десяти рублей. – И Николай Петрович опять поочередно переглянулся за столом с членами товарищеского суда, которые и на этот раз авторитетно покивали ему головами. – Деньги, Вася, ты через сельсовет будешь вносить или с собой принес?

– С собой.

Пустошкин привстал со своего места, положил на стол пачку новеньких рублей и опять сел. Но председательствующий Николай Петрович тут же опять поднял его:

– Нет, теперь тебе, Вася, необязательно на этом почетном месте сидеть.

Чуткий зал незамедлительно откликнулся:

– А если ему там понравилось?

– Нехай еще трошки посидит.

– Пусть привыкает.

– На груше ему, конечно, почетнее было сидеть.

Под градом этих реплик Пустошкин, пригнувшись, пробирался по проходу вглубь зала, выискивая себе место поскромнее, там, куда не так достигал скуповатый свет, ниспадавший сверху от люстры. На помощь пришел все тот же Николай Петрович, постучавший карандашом по горлышку графина на столе:

– Попрошу прекратить. И тем, которые явились сюда с малыми детишками, предлагаю покинуть зал. Сколько раз еще можно предупреждать?!

В глубине полуосвещенного зала началось какое-то смутное движение: что-то замелькало, зашмыгало между рядами, зашелестели юбки, и несколько женских голосов возразило Николаю Петровичу:

– Детишек тут нет.

– Они уже спят давно.

Николай Петрович, распрямляясь за столом, раздул ноздри:

– Я по воздуху слышу.

Публика опять настроилась было на игривую волну, но председатель поспешил в самом зародыше пресечь неуместное веселье:

– Открыть окна! А Шелоро Романовой предлагаю занять свое место на скамье.

Добровольцы бросились открывать большие окна с двух сторон зала, и тотчас в клуб из окружающей степи, как из большой чаши, пролилась свежесть летнего августовского вечера и стал наплывать отдаленный гул кукурузоуборочных комбайнов, иногда перебиваемый более близким гулом автомашин со шляха, а под потолком вокруг люстры радужным венчиком закружились ночные жучки и бабочки.

Хозяйка придорожной корчмы спросила у своей новой постоялицы:

– Кого ты там все время выглядаешь? Так и егозишь на своем месте.

– Просто мне интересно на ваших цыган посмотреть.

– А! Ну смотри, смотри. Я же тебе говорила, что у нас не нужно и в театр ходить. Сиди спокойно. Сейчас начнется второе действие.

На груди у Николая Петровича вновь пришли в движение все его военные и гражданские медали.

– Вас, Шелоро Романова, сколько раз можно приглашать?

Нисколько не обескураженный его суровыми интонациями женский голос спокойно ответил из полутьмы зала:

– А мне и отсюда видно.

Николай Петрович наискось, через грудь и поперек пояса, провел легким движением пальцев, как если бы на нем был сегодня надет не штатский учительский пиджак, а гимнастерка, перехваченная португеей и офицерским ремнем, и награды у него на груди прогремели совсем недобро.

– А суду ничуть не интересно, чтобы вам было видно. Суду интересно, чтобы все люди могли на вашу личность посмотреть. Но, конечно, если вы протестуете, мы можем и заочно решить.

– Ты меня, Николай Петрович, не страшай. Я не из пугливых.

Но все же к сцене, на которой заседал товарищеский суд, Шелоро вышла. Она, кажется, и в самом деле не настроена была бояться всей этой грозной процедуры суда. Иначе она не нарядилась бы сегодня так, как если бы пришла сюда не в качестве обвиняемой, а на какое-нибудь торжество: в свою, несомненно, лучшую красную индыраку³, из-под которой выглядывала широкая кайма еще более красной юбки с выглядывающими, в свою очередь, из-под нее совсем уже алыми кружевами. И когда, останавливаясь перед сценой и подбочиваясь, она независимо встряхнула головой, ее крупные черные мериклэ, тремя низками ниспадавшие с шеи на желтую думалы⁴, прогремели, пожалуй, ничуть не тише, чем благородный металл заслуженных наград на груди у Николая Петровича. Нельзя сказать, чтобы она красива была, но была у нее та вызывающая, с крупными глазами, крупными же губами и ярко нарумяненными щеками внешность, мимо которой нельзя было проскользнуть взору.

Хозяйка опять подтолкнула свою постоянщицу острым кулачком:

– Теперь и смотри, и слушай.

Николай Петрович, видя, что Шелоро остановилась перед столом и не торопится занять место на скамье, освобожденное для нее Пустошкиным, напомнил:

– Садитесь же, Шелоро Романова. В ногах, как вы знаете, правды нет.

На что последовал немедленный ответ:

– У кого нет, а у кого есть.

И, не садясь на скамейку, а лишь покосившись в ту сторону влажно блестящим зрачком, она быстро сунула руку за вырез своей кофты и, вынув оттуда что-то, положила на стол перед Николаем Петровичем.

– Это что еще такое?

Шелоро пояснила:

– Тут десять рублей. – И, помолчав, добавила: – Десятка.

Николай Петрович впервые за весь вечер коршуном вытянул из-за стола жилистую шею:

– Какая десятка?

– Мой штраф. Записывай за мной и распускай людей по домам. Тут все по рублю. Не веришь, можешь пересчитать. Какими мне люди подают, такими я и расплачиваюсь, а если мало... – И она опять было полезла рукой за вырез своей желтой кофты.

У Николая Петровича верхняя губа, приподнимаясь, обнажила вставные зубы, и затаившийся зал услышал, как он с высвистом выдохнул воздух:

– А вы знаете, гражданка Романова, что вам может быть за подобное вопиющее неуважение товарищеского суда?!

Шелоро неподдельно удивилась:

– Почему неуважение? Если б я не уважала, вы бы тут со мной до рассвета не разошлись: цыгане поговорить умеют. А я свой штраф тоже желаю добровольно уплатить. Записывай его, Николай Петрович, и распускай людей.

³ Юбка.

⁴ Кофта.

Брезгливым движением Николай Петрович отодвинул ее рубли от себя так резко, что они едва не слетели на пол и лишь чудом задержались на краешке стола зыбкой, трепещущей стопкой.

– Вы что же, надеетесь от товарищеского суда своими нечестно заработанными деньгами откупиться?

Глядя на раздувшиеся ноздри Шелоро, можно было предположить, что сейчас она разразится бурей, но она лишь с сожалением посмотрела на Николая Петровича:

– Нехорошо, Николай Петрович. Тебя в нашем поселке и русские, и цыгане уважают, а ты меня обидеть решил. Почему нечестными? Каждый человек получает деньги за ту работу, какую он умеет делать. Люди зря платить не станут. И ты, Николай Петрович, этими моими деньгами не гребуй. Тут за все мною прогулянные пять дней. На кукурузе я и зарабатывала не больше чем по два рубля в день.

Еще неизвестно было, как стал бы отвечать на все это Николай Петрович, потому что, судя по всему, такого поворота он не ожидал. И он явно обрадовался, когда сидевший по правую руку от него член суда, мужчина с пушистыми ковыльными усами, грубовато бросил Шелоро из-за стола:

– А ты бы поменьше в кукурузе карты раскладывала. Могла бы, как другие, зарабатывать и больше.

Шелоро покачала головой с большими серьгами в ушах:

– Нам эта работа не подходит.

– Чем же она тебе плохая?

– Ты меня, бригадир, на слове не поймает, не думай, что только ты один тут самый умный. Если хочешь поймать, бери штраф, а если хочешь от меня правду узнать, то послушай. Я же не говорю: плохая работа, а не цыганская она. Под нашу природу не подходит. Кто смотря к чему от рождения привык. Мы – люди из природы, и нам еще нужно время, чтобы к этой работе привыкнуть.

И здесь уже в третий раз за вечер хозяйка придорожной корчмы ткнула под бок соседку кулачком:

– Слушай, слушай! Сейчас ей за эту природу моя квартиранточка Настя и врежет. Как цыганка цыганке. Видишь, она поднимается уже.

Над первым рядом заколыхался куст черных волос, перехваченных белой ленточкой. Почему-то в зале сразу же прекратились всякое движение и самый невинный шум: полусшепот переговаривающихся соседей, стыдливый кашель. Высокий и гортанный голос с насмешливой презрительностью поинтересовался у Шелоро:

– И от своей полдюжины беспризорных детишек ты тоже думаешь откупиться этой десяткой, Шелоро?

Ни на секунду не промедлила Шелоро со столь же насмешливо-презрительным ответом:

– Мои дети, Настя, тут совсем ни при чем. Вот ты, когда себе заимеешь своих, тогда и будешь ими, как захочешь, торговать. Но до этого тебе еще придется хорошего муженька подобрать. А то ты, бедная, так еще и не решила, из каких себе выбрать – из бородатых или из молодых.

Почему-то при этих словах Шелоро какой-то гул или скорее ропот прокатился по залу клуба, и Настя на минуту потупилась – не для того ли, чтобы скрыть краску, так и прихлынувшую к ее щекам? Но тут же она опять вскинула головку с модным начесом, и все увидели, что на лице у нее ни кровинки.

– Об этом не беспокойся, Шелоро, тебя с бубном я на свою свадьбу все равно не позову, а вот твоих при живой матери сироток, пока ты ездешь людей дурить, мне, правда, и купать приходится, и расчесывать, и глаза им цыганскими и русскими сказками на ночь закрывать. И это бы еще ничего...

Шелоро низко поклонилась Насте, так, что ее мериклэ достали до самого пола, и серьезно сказала:

– За своих детишек, Настя, я тебе уже говорила спасибо и еще раз не поленюсь сказать, но это же такая твоя должность – за нашими детишками в детском садике глядеть, и тебе за это тоже деньги платят.

Новая волна ропота, прокатившаяся при этих словах Шелоро, явно не свидетельствовала в ее пользу, угрожая затопить ее всплесками взметнувшихся в разных концах зала реплик:

– А у тебя какая должность?!

– Вот это, называется, мать!

– Может, тебе за это тоже зарплату платить?

А у жены Василия Пустошкина, которая даже привскочила со своего места, чтобы наконец-то взять реванш за позор, только что перенесенный их семейством, стремительный залп слов невольно для нее самой сложился, как в частушке:

– Она, значит, будет ездить ворожить, а мы, значит, будем ее деток сторожить?

И этого оказалось достаточно, чтобы вслед за взрывом смеха не израсходованная еще часть огня, предназначавшегося Шелоро, переключилась на нее:

– Вот это у Васи жена!

– Отомстила Малаша.

– Ждала, ждала и подстерегла.

– Так их, Малаша, этих цыганей!

– Чтобы они не обижали твоего Васю.

– За такой, Вася, танкой и ты не пропадешь.

Даже Шелоро заулыбалась. Все еще не сядя на свое место, Малаша Пустошкина попыталась было противостоять этому натиску и даже перекричать его своим натренированным в словесных баталиях с соседками басом, но даже и ей с ее могучим и рослым, под стать своему Васе, телосложением это оказалось не под силу.

– А, да ну вас!

И она села. Супругам Пустошкиным сегодня явно не везло на трибуне. И лишь тем они могли считать себя частично вознагражденными, что по залу, по рядам, от человека к человеку еще долго передавалась вместе со смешками непредумышленная Малашина прибаутка: «Она, значит, будет ездить ворожить, а мы, значит, будем ее деток сторожить». Пока эти часто повторяющиеся слова не вызвали у кого-то в зале совсем других, исполненных глубокой задумчивости слов:

– А на чем же они теперь могут ездить на свою ворожбу?

Не таким-то и громким голосом они были обронены, но ни от кого не укрылось, как вздрогнула Шелоро и улыбка тут же замерла у нее на губах. Глаза ее, как два больших лохматых шмеля, зачем-то метнулись в полутьму зала и стали там выискивать что-то по рядам. Она совсем не умела и даже не пыталась скрыть, как ее напугал этот неожиданно подкравшийся вопрос. Но, кажется, и не только ее, потому что и та громкоголосая часть аудитории, которая только что столь яростно атаковала Васю Пустошкина, сразу же оказалась безголосой, смиренной. Цыгане понурились и сидели молча. И только Настя, колыхнув кустом волос, отчетливо сказала:

– Об этом нужно спрашивать не у нее. Об этом лучше всего может рассказать ее муж Егор.

Николай Петрович поднялся из-за стола:

– Егор Романов здесь?

Очень скоро выяснилось, что Егор Романов, муж Шелоро, внезапно потерялся в полутемном зале клуба, как иголка в стоге сена. Должно быть, потому, что он был здесь, пожалуй, самым маленьким из всех мужчин, и не только из цыган. Правда, совсем недавно, несмотря на

это, его и видно, и слышно было больше всех, и яростнее всех он, как ястреб, насакивал на Пустошкина, развеивая полами своего сюртучка, и вот Егор исчез. Жена его, Шелоро, с бледным, тревожным лицом стояла у сцены, и глаза ее метались из стороны в сторону, как два больших шмеля, но самого Егора не было. И уже отчаявшийся вызвать его из полутьмы зала Николай Петрович так, должно быть, и махнул бы на него рукой, если б не тот же Пустошкин. Встав с места, он долго буравил глазами зал, неярко освещенный светом от движка, и, все-таки высмотрев то, что ему надо было, вдруг торжествующе завопил:

– Так вот же он где! Его же сами цыгане в своем темном кутке хоронят.

И после этого тем же цыганам, которые надеялись спрятать Егора Романова от ищущих его взоров, ничего другого не оставалось, как самим вытолкнуть его из темноты на свет, как пробку из бочки.

Невольным новым взрывом смеха сопровождалось появление его перед столом, мелко-рослого и щуплого, с торчащим из-за голенища кнутовищем, рядом со своей супругой Шелоро. Так она подавляла его внушительностью своих форм. Единственным, кто не мог сейчас позволить себе засмеяться или хотя бы улыбнуться, был председатель товарищеского суда Николай Петрович. Судорожно преодолевая улыбку, дергающую мускул щеки, он с преувеличенной официальностью спросил у Егора:

– У вас, Егор Романов, лошади есть?

В своем коротеньком сюртучке Егор стоял лицом к столу суда, спиной к залу.

– Есть, Николай Петрович.

– Сколько?

– Две, Николай Петрович. Конь и кобыла.

– Откуда же они у вас могли взяться, Егор?

Егор дотронулся до кнутовища у своей ноги и даже вытащил его до половины из сапога, но тут же засунул обратно.

– Они, Николай Петрович, завсегда были моими.

Зачем-то понижая голос и отбрасывая свою официальную вежливость, Николай Петрович перешел на «ты»:

– Ты что же их, от государства скрыл?

Медали на груди у Николая Петровича отражали свет люстры, ослепленный ими Егор ушащенно моргал веками.

– Скрыл.

– Где же ты мог их все эти годы скрывать?

– Я их, Николай Петрович, спервоначала в степу при табуне держал, а теперь домой в сарайчик перевел.

– А с Указом Верховного Совета, Романов Егор, ты знаком или нет?

И тут вдруг все присутствующие увидели то, чего никто не мог предположить. Этот маленький, тщедушный цыган, муж Шелоро, вдруг повалился на колени прямо перед столом, за которым заседал товарищеский суд.

– Не забирайте, граждане-товарищи, у меня коней! Мы же цыгане!

Вот когда все увидели, как может совсем выйти из себя всегда такой уравновешенный и спокойный Николай Петрович. Все лицо у него побагровело до самых корней седых, как перекаленная проволока, волос, и, когда он выпрямился за столом, медали, сталкиваясь, угрожающе загремели. Он крикнул срывающимся тенором:

– Встань сейчас же! Это ты перед кем же посмел свою комедию ломать, перед советским товарищеским судом?! А ты знаешь, что мы тебя за эти рабские привычки можем настоящему суду предать?! Встань, тебе говорю, ну?!

Даже и на всех остальных присутствующих этот бурный взрыв ярости у Николая Петровича произвел впечатление, все притихли и съежились, но Егор Романов не подчинился.

– Не забирайте коней, – твердил он, оставаясь на коленях. И только лишь резкий возглас Шелоро мгновенно поднял его.

– Бэш чаворо! – крикнула она.

Вставая и утирая рукавом слезы, Егор поплелся к выходу с вишневым красным кнутовищем за голенищем сапога.

Никто не задержал его. Лишь один несказанно удивленный басок сочувственно бросил вдогонку ему:

– Чудак-человек. Да у нас же их, коней, здесь целая тьма. Садись на любого и паси табун.

Другой же, еще совсем мальчишеский, на переломе, голос мечтательно поинтересовался вслух:

– А что это такое может у них значить «бэш чаворо»?

Ему бы должна была ответить Шелоро, но она или не захотела отвечать, или не слышала его. Стоя у сцены и повернувшись спиной к столу, она смотрела на длинный проход между рядами стульев, по которому только что ушел из клуба Егор, таким же взглядом, каким обычно смотрят на расстилающуюся впереди по степи дорогу. И тогда после долгого молчания решила ответить на вопрос любопытствующего парнишки Настя:

– Бэш чаворо, Миша, это по-цыгански: «Садись-ка, мальчик, на коня».

Однако тот, кого она назвала Мишей, оказался из упорных. Настин ответ не вполне удовлетворил его:

– Нет, а что же это, тетя Настя, еще должно значить?

На этот раз Настя, медля почему-то с ответом, бросила взгляд на Шелоро. Та, казалось, не замечая ее взгляда, продолжала тягуче смотреть на проход и лишь слегка повернула к Насте ухо с полумесяцем большой серьги.

– У цыган, Миша, это иногда еще может означать, когда они что-нибудь натворят: «Давай-ка, мальчик, скорее отсюда удирать, пока еще не поздно».

Внезапно Шелоро резко повернулась к Насте, и красивое полное лицо ее исказилось.

– Врешь! – крикнула она. – Ты все, проклятая, врешь!! – И с растопыренными руками, потрясая кулаками и своими мериклэ на могучей груди, двинулась к Насте. – Это из-за тебя все! Ты уже и не цыганка совсем, у тебя от цыганки ничего не осталось! Погляди-ка на себя: ни мужик, ни баба. Цыганка своих никогда не станет продавать! – Мериклэ прыгали у нее на груди, и обезображенное яростью лицо уже вплотную приближалось к лицу Насти. – Я давно знаю, что ты хочешь забрать у меня детей. Ты свою природу уже забыла и теперь хочешь, чтобы они тоже забыли свою мать.

Даже Николай Петрович при этом внезапном взрыве ярости Шелоро растерялся и, ничего не предпринимая, только молча переводил взгляд с ее лица на лицо Насти. У Насти ж оно лишь чуть-чуть побледнело, но она как стояла, так и продолжала стоять на своем месте, ни на шаг не отступая перед надвигавшейся на нее Шелоро. И, глядя на нее в упор, не повышая голоса, она холодно бросила ей:

– Ты сама, Шелоро, забыла своих детей.

– Ты!.. – Так с поднятыми кулаками Шелоро и остановилась перед Настей. Если бы она увидела, что Настя испугалась ее, она, возможно, и не замедлила бы пустить кулаки в ход, но Шелоро хорошо видела, что Настя не боится ее. И Шелоро вдруг схватила руками за голову. – А-а! – закричала она. – Деточки мои, деточки, как же я теперь без вас останусь?! А-а-а!! – И, дергая себя за волосы, но не очень сильно, и за нитки с мериклэ, однако тоже не настолько резко, чтобы они могли порваться, она закачалась из стороны в сторону. Настя с презрительной улыбкой смотрела на нее.

И здесь всего лишь во второй раз за весь вечер послышался голос того, пожалуй самого молчаливого, из цыган, Настиного соседа, с небольшой бородкой, который до этого все время так и просидел, не поднимая головы, с опущенными между колен руками.

– Тебе нужно успокоиться, Шелоро, – глуховатым голосом сказал он. – Никто пока не собирается отнимать у тебя детей. Ты совсем не поняла Настю. Правда, Настя?

Так получилось, что, встав со своего места, он невольно оказался между ними – между Настей и Шелоро – и, говоря, то к одной, то к другой поворачивал лицо с кудрявой черной бородкой. Но такой же черноты пучок колыхался и над головой у Насти.

– Для детей было бы лучше, Будулай, если бы их взяли у нее, – непримиримо сказала Настя.

Перестав кричать и прислушиваясь к их словам, Шелоро со жгучим вниманием бегала глазами по их лицам. В зале клуба стало так тихо, что было слышно каждое слово их разговора.

– Надо, Настя, очень серьезную причину иметь, чтобы мать или отца их родных детей лишить.

– А если, Будулай, они своим же детям враги?

– С такими словами, Настя, никогда не надо спешить.

– Ты ее еще не знаешь, Будулай. Она сегодня еще не все показала.

– А-а! – как бы в подтверждение этих слов вдруг опять закричала Шелоро, и ее мериклэ, как отборные крупные вишни, посыпались на пол. Срывая их с себя, она жменями разбрасывала их по полу вокруг, не забывая при этом искоса наблюдать за Настей и Будулаем.

И тогда он впервые тоже повысил голос:

– Перестань же, Шелоро, сейчас тут никто не собирается у тебя твоих детей отнимать, хоть ты и плохая мать. Но скоро, рома⁵, если вы не опомнитесь, они сами начнут от вас уходить.

Теперь уже получалось, что он говорил все это не только одной Шелоро, но и всем тем другим своим соплеменникам, которые смотрели на него из безмолвного зала, слушая его. Комары сверлили воздух под потолком, и вокруг люстры мельтешил радужный венчик. Электрические матовые свечечки горели вполне адекватно, и не то чтобы совсем темно было в зале клуба, а как-то не светло. И, вытягивая вперед голову с кудрявой бородкой, он все время как будто силился что-то разглядеть в зале и понять, какое впечатление производят на них его слова. Бородка его, попадая в черту заревого полусвета, вспыхивала и становилась рыжей, а белки глаз и зубы еще резче белели на темном лице.

– Среди цыган тоже красивые мужчины есть, – сказала своей новой постоялице хозяйка придорожной корчмы. – А вот кончики своих усов он уже где-то поморозил. Но это ему не мешает, а даже наоборот. – И, не встречая со стороны своей соседки никакого, хотя бы малейшего, сочувствия этим словам, она покосилась на нее. – А чего это ты, Петровна, то все время вытягивала шею, как гуска через плетень, а то схоронила лицо в ладоши и сидишь?

– Очень голова у меня разболелась. Как сразу что-то ударило в нее.

– С чего бы?

– Не знаю. Я за всю прошлую ночь в дороге так и не могла заснуть.

– А я еще потянула тебя с собой сюда. Не проходит?

– Нет.

– А ты откинь-ка ее на спинку стула, чтобы кровь отлила.

– Нет, лучше мне будет, Макарьевна, на воздух выйти.

– Ну ладно, выйди, побудь на дворе и ворочайся. Надо же тебе до конца добыть.

– Вы мне потом все расскажете, а теперь я пойду.

– Ах ты господи, – искренне опечалилась хозяйка. – Надо же было тебе заболеть, когда еще ничего не кончилось. Куда же ты сейчас пойдешь? – И рука ее все время то дотрагивалась, то опять отдергивалась от бокового карманчика старушечьей бархатной кофты.

– Я дойду до дома и там вас на лавочке подожду.

⁵ Цыгане.

– Нет, это не годится, – решительно сказала хозяйка. – Так ты совсем замерзнешь, и у меня тут будет об тебе душа болеть. А у нас здесь после этого еще всегда бывает концерт. – И на этом ее последние колебания кончились, уступив в сердце место порыву великодушия. – На вот, возьми, – сказала она, доставая из карманчика кофты и протягивая постоялице большой дверной ключ. – Бери, бери. Я эти цыганские концерты страсть как люблю.

Сзади, прямо у нее за спиной, негодующий бас рявкнул:

– Да тише ты! Тебе бы, старуха, в это время давно уже пора спать, а ты раскудаhtалась, как яйцо снесла.

Обескураженная, она на мгновение съежилась, но и не могла же она отпустить свою ночную квартирантку домой без соответствующих директив. И, переходя на дробный полусшепот, она все-таки сумела закончить их:

– Ложись на свою койку и спокойно спи, а на крючок не запирайся, чтобы мне не пришлось тебя будить. Сейчас я толечко чуть привстану и выпущу тебя. Да ты не дюже пригинайся, тебя же тут все равно никто не знает.

Но ее постоялица, несмотря на этот совет, не менее чем полпути пробиралась до наружных дверей клуба между рядами стульев согнувшись и втянув голову в плечи. И только на полпути она распрямилась и уже не пошла, а почти побежала к выходу все более быстрыми шагами, как будто подталкиваемая в спину этим голосом:

– И тогда уже никто не поможет вам, рома, вернуть ваших детей. Никто.

Хозяйка придорожной корчмы возвращалась из клуба домой, переполненная впечатлениями вечера так, что если ей не поделиться ими с кем-нибудь теперь же, не откладывая, то, пожалуй, и не уснуть ей сегодня. И голова, и ноги гудели, как телеграфный столб на морозе в степи. Теперь уже она жалела, что все-таки не отговорила свою новую постоялицу уходить из клуба, а сама же вручила ей ключ от дома. Многие эта женщина потеряла такого, чего ей, может быть, и даже наверняка больше не доведется увидеть и узнать. Не всюду же среди русских и цыгане живут. И если все самое главное, что произошло на товарищеском суде, постоялица успела захватить, то такого цыганского концерта ей уже негде будет увидеть и услышать. Если бы все они так же работали, как танцуют и поют! Все, как один, артисты! И даже у этой Шелоро такой голос, что она как будто бы вынет из груди сердце, подержит на ладонке и опять на место вложит. Как ни в чем не бывало тоже выступала со всеми, и сам Николай Петрович хлопал ей. А до этого все ж таки не погнушался с нее за прогульные пять дней штраф взять и предупредил, как бы ей дальше не было еще хуже. Но она только засмеялась ему в лицо и вернулась на свое место... И так умеет жалостливо своим цыганским голосом поиграть, что вот-вот вывернет душу. Но они же, эти артисты, и развеселить умеют своими плясками так, что люди опять уже от смеха плачут. А квартиранточка Настя, несмотря на то что она до конца сражалась с этим Будулаем на суде, так и вытанцовывала перед ним, чтобы его с места сорвать, так и вызывала, но он не поддался. Серьезный цыган. А все другие цыганские мужчины плясали, а потом и с русскими смешались. И тогда уже ничего нельзя было разобрать – все закружились в клубке. Из зала так и выскакивали на сцену один за другим. Русские начали по-цыгански плясать, а цыгане – по-русски. Ничего не поймешь. Ну а раз так, то пора уже было и убираться домой. А ее квартиранточка Настя, должно быть, и теперь еще перед ним выплясывает. Из всех самый почему-то невеселый цыган. Борода у него еще черная, а усы уже посеребрило. Она, бедняжка, перед ним и с одного бока зайдет, и с другого, а он ни с места.

Даже не улыбнется. Мишка Солдатов, на нее глядячи, раза три отлучался с концерта и каждый раз вертался еще дюже пьяный.

Многоголосый шум клуба и свет его окон все больше отдалялись от нее, оставшись за спиной, и она все глубже вступала в темноту безмесячной августовской ночи, но всеми своими мыслями была еще там и никак не могла освободиться от этих мыслей. И уже почти перед

самым домом она внезапно даже остановилась посреди дороги, пораженная одной из них: «А может быть, и правду сказала Шелоро, что им трудно к нашей работе привыкнуть. Может, если б их всех и к работе такой приспособить, чтобы людей веселить, цыганские песни играть и плясать, то и люди бы на них не так обижались. Что же делать, если они к этому больше всего способны?.. Такой, значит, народ. Пусть бы и ездили, если захотят, из станицы в станицу, из поселка в поселок своими цыганскими бригадами, но чтоб без всякого баловства. Тогда бы и за незаконное содержание лошадей их перестали привлекать, все равно же они их потихоньку держат...»

И, настигнутая этой мыслью, она так призадумалась, стоя посреди дороги, что шофер трехтонки, нагруженной кукурузной силосной массой, внезапно увидев ее в свете фар, завизжав тормозами, едва успел вывернуть руль и, круто вильнув, до половины высунулся из кабины, недвусмысленно погрозив ей кулаком и подкрепляя этот жест соответствующей порцией соответствующих этому дорожному происшествию выражений. Только после этого она шарахнулась прочь с дороги к своей калитке, несколько не обидевшись на шофера и считая, что он обошелся с нею еще сравнительно мягко. «Так тебе и надо, старая дура, чтобы не строила из себя министра посреди дороги. Развесила уши».

В доме было темно. Она повернула выключатель и сразу же поняла, что надежде, которую она еще продолжала лелеять, не суждено осуществиться. Постоялица, так и не дождавшись ее из клуба, уже улеглась спать, и, значит, на слушательницу, с которой можно было бы поделиться тем, чем непременно нужно было бы поделиться, не откладывая на завтра, рассчитывать нечего.

Снедаемая нетерпеливым желанием хотя бы малую частицу перелить из того, что ее переполняло, в кого-нибудь другого, хозяйка даже за шторку рискнула заглянуть, а может быть, ее постоялица вовсе и не успела еще уснуть, а, как это бывает с людьми на новом месте, все еще лежит с открытыми глазами, всматриваясь в темноту и вслушиваясь в незнакомую тишину. Нет, и глаза у нее были закрыты, и даже не шелохнулась она, не забеспокоилась от присутствия другого человека, ни единая черточка не дрогнула у нее. И веки, и губы были сомкнуты сном. Еще совсем не старая и хорошая женщина, а уже привыкла, что ее Петровной зовут. Видно, солдатская вдова. Со своей наружностью и всем остальным она бы еще вполне могла устроить себе жизнь, да, видно, не захотела из-за детей. Из-за них чего только не сделаешь, только бы им было лучше. Иногда, бывает, приходится и от самой себя отказываться, да не всегда они, деточки, это ценят. Вот и этот цыган на суде говорил, что, бывает, дети и отказываются от своих матерей и отцов. Но все-таки что-то уж очень румяные щеки у нее во сне, прямо огнем горят, а в клубе, перед тем как уйти, она была совсем бледной. Еще и в самом деле разболеется, бедная, вдали от родного дома, да и ухаживать за ней здесь некогда, когда у самой на руках и дом, и клиенты, и все остальное хозяйство.

Хозяйка осторожно попробовала ладонью лоб женщины, не без тайной, впрочем, надежды, что если бы нечаянно проснулась она, то можно было бы и присесть на краешек ее кровати... Но и после этого постоялица не проснулась. А лоб у нее был совсем горячий и черствый. И румянец такой, что вот-вот кровь брызнет... Ну да что же теперь поделаешь, придется отложить этот разговор до утра, хотя всегда куда как интереснее делиться новостями по свежему, когда все еще так и маячит перед глазами, как нарисованное, так и роится в голове, как растревоженные пчелы в улье.

И долго еще, после того как легла она на свою кровать и тоже крепко зажмурила глаза с твердым намерением уснуть, не мог успокоиться этот улей. Пчелы так и просились наружу и, рассерженные тем, что леток закрыт, начинали жалить. И тогда опять перед глазами с явственной отчетливостью, как если бы она уже не в постели у себя дома лежала, а все еще оставалась там, в клубе, – вспыхивали и набегали одна на другую картины только что увиденного и услышанного: и Шелоро, вихляющая бедрами и подрагивающая плечами не перед кем-нибудь, а

перед самим Николаем Петровичем; и сам Николай Петрович, не устоявший все-таки перед ее вызовом и с каким-то клекотом ринувшийся, ко всеобщему восторгу, вприсядку, несмотря на свою раненую ногу; и сверкающие кружочки его медалей, заметавшихся из стороны в сторону на ленточках со звуком, перебивающим звон ее цыганского мониста. А ее квартиранточке Насте все же так и не удалось сорвать со своего места, вытащить в круг того строгого цыгана: как сидел он, положив большие руки на колени, так и остался сидеть. И выходит, что напрасно Мишка Солдатов ревновал ее и налакался за этот вечер молодой кукурузной бражки так, что неизвестно, допустит ли его утром завгар за руль самосвала.

И все больше перед ее глазами все это смешивалось и свивалось в какой-то пестрый клубок или вихрь из отплясывающих русскую и цыганочку ног, раздувающихся юбок и развевающихся монист, бородатых лиц и медалей на муаровых лентах. Усталость брала свое. Привычно убаюкивали и автомашины, пронесившиеся мимо по шляху. Пророкочет мотор – и еще безраздельнее властвует вокруг тишина.

Самую границу между сном и бодрствованием еще никому не удавалось застолбить. Улей еще некоторое время погудел и замер. Пчелам тоже приходит время спать.

В тишине летней ночи, окаймленной безграничностью степи, отдаленный треск мотоцикла подобен стрекоту большого кузнечика, летящего из тьмы на огонь. И только приблизившись вплотную, распадается она на скрежет стальных шестеренок и оглушительные выстрелы выхлопной трубы.

Свет единственной фары полоснул по окнам домика и тут же померк. Сразу же захлебнулся и мотор. Но вслед за этим только что оборвавшимся звуком появился и стал приближаться по дороге издалека какой-то новый. Только теперь уже не скрежещущий металлический, а рассыпчато-дробный и четкий... Так и есть, это скачет лошадь по насуху затвердевшей дороге, и гулкое ночное эхо приумножает цокот ее копыт. Нарастая, он быстро приближается и тоже вдруг сразу обрывается в том же самом месте, за стеной.

– А все-таки ты меня не догнал, Будулай! – торжествующе смеется женский голос.

– Лошадь не машина, но еще немного – и догнал бы, Настя.

– Да, хороший у тебя конь. Ну а теперь привязывай его вот сюда к огороже, и зайдем ко мне.

– Уже поздно, Настя. Как-нибудь я загляну к тебе в другой раз. Твоя хозяйка теперь уже спит.

– Ну и что из того? Ей сейчас хоть над ухом стреляй. Семьдесят лет, а ни одного вечера в клубе не хочет пропустить. А другой раз, Будулай, так другим разом и останется, – это я от тебя уже слыхала. Или ты боишься, как бы завтра к той же Шелоро на язычок не попасть?

– Этого, Настя, как ты знаешь, я меньше всего боюсь.

– Ну а если нет, то входи, посидим у меня и доспорим с тобой до конца. Комната у меня отдельная, и никому мы мешать не будем. У меня, кажется, и бутылка вина есть. Не откажешься?

– стакан вина я бы сейчас выпил.

Почти совсем беззвучно отворились и затворились смазанные хозяйкой в петлях подсолнечным маслом одна, другая и третья двери, пробрунжали под шагами половицы, и щелчок выключателя донесся из-за перегородки с другой половины дома. Из-под двери, плотно прикрытой на ту половину дома, просочились, разбавляя темноту передней комнаты, оранжевые лучики, прихватив на подушке кровати все еще обуреваемое страстями минувшего вечера лицо спящей хозяйки и угол желтой цветастой шторки, за которой лежала на своей кровати та, другая женщина, ее временная квартирантка.

Перегородка, которой разделен на две половины дом, – совсем тонкая и даже не саманная или же набивная, а дощатая, всего в две доски. И на хозяйскую половину дома из-за нее слышны не только шаги в другой комнате или же как отодвигаются и скрипят стулья, но и разговор, даже если там говорят негромко.

– О чем же, Настя, мы еще должны доспорить с тобой?

– Ты, Будулай, не улыбайся, как будто не знаешь. Конечно, ты у меня сегодня гость, а хозяева гостям всегда должны только самые ласковые слова говорить, но на это у нас еще будет время. Что-то ты сегодня показался мне слишком добрым, Будулай.

– А каким же, Настя, по-твоему, должен быть защитник на товарищеском суде?

– Я уже сказала, чтобы ты не улыбался, я не собираюсь шутить. Ты здесь человек сравнительно новый и еще не успел как следует людей узнать.

– Люди, Настя, везде – люди.

– Вот-вот, я же и говорю: ко всем добрый. А он к тебе тут же на шею скок – и вези. Да еще погоняет: тебе за это зарплату платят.

– Не к каждому слову надо придирааться, Настя.

– А я бы на месте нашего товарищеского суда передала дело в настоящий суд, чтобы отобрали у нее детей.

– Если бы, Настя, у тебя были свои дети, ты бы не решала это так быстро.

– У меня их, может быть, и вообще не будет.

– Это почему же? Ты еще совсем молодая.

– Ну а если будут, я их не стану на чужих людей бросать.

Молчание, наступившее после этих слов за стеной, затянулось.

Наконец виновато заискивающий голос сказал:

– Я тебя не хотела обидеть, Будулай. Это как-то нечаянно вышло.

– Я, Настя, знаю. Ты говорила, что у тебя найдется что-нибудь выпить.

– Ох и дура же я! Вот тебе и хозяйка.

За перегородкой прошелестели шаги, скрипнула дверца шкафа, и тихонько звякнуло о стекло бутылки стекло стакана.

– А почему же только один стакан?

– Не хочу, Будулай. Я сегодня почему-то и без этого как пьяная. Ты наливай себе, а я лучше схожу во двор из колодца холодной воды напьюсь.

Она вышла во двор и, погромев там у колодца цепью с ведром, вскоре вернулась, не очень-то беспокоясь о том, чтобы сделать все это без стука, а скорее, наоборот, двигаясь резко и быстро, безо всяких предосторожностей открывая и закрывая двери. Но хозяйка ее, как и предполагала Настя, не обнаружила ни малейших поползновений к тому, чтобы проснуться. Даже ни на секунду не прервала густой мужской храп, как из решета рассыпаемый ею по дому.

– Ты мне так больше про Ваню ничего и не рассказывай, Будулай. А ведь я ему не кто-нибудь, а, получается, тетка, его родной матери меньшая сестра. Какой он? Совсем уже большой? Я же так его и не знаю. Я и Галю только по песням помню: ну сколько мне было тогда?!

– Четыре года.

– На Галю он похож?

– Как тебе сказать?.. Немного, должно быть, на нее, немного на меня. А вот уже здесь мне иногда стало казаться и что-то совсем странное. Ночью, когда его вспомню и вдруг так ясно услышу его «честное комсомольское», и как он при этом повернет голову, и – вот так – сделает рукой, мне начинает казаться, что он похож еще на кого-то.

За перегородкой бурно спросили:

– На кого? На эту женщину, да?

– Ты, пожалуйста, потише, Настя, а то хозяйка твоя и правда может проснуться.

Но он зря тревожился. Старая хозяйка этого придорожного домика и вообще не страдала бессонницей, а сегодня, уставшая от впечатлений минувшего вечера, заснула на своей пуховой перине особенно крепко. И разбудить ее теперь было не так просто. Со своими добровольно принятыми на себя обязанностями содержательницы ночной, как ее называли шоферы, корчмы-ресторана «Дружба» она уже давно приучила себя ловить для сна короткие паузы между заездами клиентов. В иную непогодную ночь – не такую, как эта, – тормоза то и дело стонали у ее двора и потоки света, вливаясь в окна, начинали требовательно шарить по дому. И, только что прикорнувшая, она мгновенно пробуждалась, готовая услужить любому, едва лишь начнет позвякивать щеколда. А тут за весь день одна лишь машина и притормозила у двора, одну только и привезла клиентку. По хорошей летней дороге машины бегут и бегут мимо, некогда водителю и стаканчик опрокинуть. Зато и спи себе сколько хочешь.

И совсем не она теперь могла услышать, о чем разговаривали за перегородкой Будулай и Настя. На передней половине дома, за шторкой, была поставлена кровать специально для проезжих женщин. Там они могли и раздеваться, и спокойно спать, не боясь нескромных взоров. Там теперь и лежала на спине, вперив невидящие глаза в темноту, та самая единственная за весь день клиентка, которую перед вечером довез шофер мимолетной машины до ворот гостеприимного дома.

– Я и сам, Настя, понимаю, что этого, конечно, не может быть, но ведь она же его своим молоком выкормила. Недаром же если о человеке хотят сказать что-нибудь хорошее или плохое, то говорят, что он это с молоком матери впитал.

– И больше ты так ничего и не знаешь о нем?

– С тех пор как уехал из хутора, не знаю. Откуда же я могу узнать?

– Ну, в письме спросить. Или еще как-нибудь.

– Зачем, Настя, людей зря письмами беспокоить, когда они своей жизнью живут?

– Вот ты как ее покой бережешь. Ну а какая она, Будулай, из себя?

– Кто?

– Эта... женщина.

– Ее Клавдией зовут.

– Эта... Клавдия, красивая она?

– Разве, Настя, только в красоте дело?..

– Все ж таки и в ней. А глаза у нее тоже такие же, как у Вани, черные или какие-нибудь еще?

– Как тебе, Настя, сказать...

– Да так прямо и скажи, если еще не забыл.

Вот они уже по имени называют ее. Странно и как-то страшно бывает человеку, когда о нем говорят почти тут же, при нем – всего лишь за тонкой перегородкой, – и даже разбирают его по косточкам, а он совсем не вправе вмешаться, чтобы прекратить это. Лежи и слушай, как о тебе расспрашивают, какие у тебя глаза, и не смей ответить: «Ну да серые, серые, а теперь замолчите и не смейте обо мне говорить, как будто я совсем бессловесная вещь...» Нет, нельзя, лежи и молчи.

– Ну тогда скажи, как она, по-твоему, лучше или хуже меня?

– Вы, Настя, разные совсем.

– Хитрый ты, Будулай. Если мы разные, то, значит, она из себя русая, да? Я давно замечала, что почему-то наши цыгане больше на русских женщин любят смотреть. И ты, Будулай, такой же?

– Мне, Настя, уже поздно на женщин смотреть.

– Это ты или притворяешься, или наговариваешь на себя.

– И притворяться мне ни к чему.

– Значит, наговариваешь. А по-моему, некоторые наши молодые парни старше тебя. Скучно мне с ними.

– Почему? Тебе, конечно, лучше знать, я, как ты сама сказала, человек здесь новый и еще не успел как следует познакомиться с людьми, но мне кажется, и здесь немало хороших парней.

– Хороших – да, но только у них, Будулай, нет чего-то такого, что есть, например, у тебя.

– А что же такое, по-твоему, есть у меня?

– Опять ты улыбаешься. Этого я не смогу тебе объяснить. – И тут же, противореча себе, объявила: – Нет, смогу. Вот я сегодня и на суде с тобой спорила, и до сих пор не согласна, что таких, как Шелоро, надо добротой лечить, а все-таки чувствую, что в чем-то таком, чего я еще не совсем понимаю, ты, Будулай, больше прав.

– В чем же?

– Вот этого я пока и не могу объяснить.

...А этого тебе и невозможно понять, хоть ты, кажется, и не совсем простая цыганочка – грамотная и острая не по годам. Но тут одной твоей остроты мало. Ты хочешь напролом, а тут напролом нельзя. И надо, чтобы у человека за плечами не одна только грамотность была.

– Значит, Будулай, так ты и не знаешь, где он теперь может быть?

– Если ничего не помешало, он должен был в институт поступить.

– А что ему могло помешать! Или он, по-твоему, мог узнать как-нибудь?

– Нет, Настя, он не должен был узнать.

И что ей, этой цыганке, надо от него, мало она сегодня уже надпрашивалась там, на суде?! Как с ножом к горлу. И что же он может ответить, если и сам ничего не знает, не может знать? Проклятая перегородка: такая тонюсенькая, а голос через нее нельзя подать, чтобы подсказать... Нет, слава богу, Ваня так и не узнал ничего, но это еще не значит, что ничто другое уже не могло бы ему помешать. Потому что в его годы, может быть, самое страшное, когда кажется, что обманул тот самый человек, которому больше всего верил.

О как же ему было объяснить, что за этим человеком нет никакой вины. «Если, мама, Будулая нельзя верить, то кому же тогда еще верить?! Он же сам мне говорил, что больше уже не уйдет из нашего хутора, не будет кочевать». Ванины черные глаза тревожно впивались в лицо матери, ожидая от нее ответа. «А может быть, Ваня, он и не собирался уходить, но так получилось. Человек не всегда располагает собой. Может быть, он какое-нибудь известие получил». – «Но забежать всего лишь на одну минутку, чтобы попрощаться, одно только слово сказать, он мог?» – «Может, Ваня, у него и на это не оставалось времени». Но Ванины глаза все так же лихорадочно-недоверчиво искали ее взгляда. «Нет, этого я не могу понять. Мне он казался совсем другим. И уж если он после этого не напишет нам, не объяснит, я окончательно поставлю на нем крест». – «Ты только, Ваня, не горячись, поставить на человеке крест легче всего, но спешить никогда не надо». И при этом странное чувство начинало шевелиться у нее против Будулая, как будто он и в самом деле мог и должен был догадаться и все-таки остаться в хуторе, несмотря ни на что, но не захотел. Но тут же она отгоняла от себя это чувство.

Все, слава богу, обошлось, и экзамены Ваня благополучно сдал, правда не на механический, куда он собирался, обсуждая это с Будулаем, а, как будто наперекор этому, в военно-инженерное училище. Но эта цыганочка не зря допытывается, могло получиться и хуже. Никто так и не узнает, сколько еще состоялось таких разговоров у матери с сыном и чего это могло стоить, чтобы он постепенно начал успокаиваться, отходить сердцем и уже мог говорить о своем родном отце, хоть и не зная, что это его отец, не так наотрез. А потом Ваня уже и подсмеиваться над своей матерью стал: «Ты, мама, стоит мне только заикнуться, так нападаешь на меня, что тут, по-моему, что-то нечисто. Смотри-ка, Нюра, смотри, как наша мать краснеет».

- Не сердись на меня, Будулай, но я так и не могу понять, зачем ты сюда приехал.
- Должно быть, затем же, зачем и другие цыгане.
- Нет, это ты не всю правду говоришь. Ты давно уже и от коней, и от цыганской жизни отвык.
- Ты, Настя, и со мной разговариваешь здесь, как с Шелоро на суде. Тебе нужно учиться на прокурора.
- Напрасно ты смеешься. Я уже не девочка, Будулай.
- Места тут, Настя, глухие.
- Вот это правильно. Хочешь спрятаться?

Какое она имеет право его стыдить? И правда, ей бы только прокурором быть. Какая-то уж очень отчетливая она. Конечно, совсем молодая еще, а молодые теперь хотят сразу на все свои вопросы ответы получить. И словами ведь можно ударить человека так, что ему будет больно. А если ему и самому еще нужно время, чтобы правильно ответить, если он и сам еще твердо не знает, что оно дальше будет и как?!

- Вряд ли, Настя, я кому-нибудь так буду нужен, чтобы захотели меня искать.
- А вот это он совсем напрасно спешит за других сказать, этого ему бы и вовсе не следовало говорить.

А старуха храпит, как дрова пилит. Правда, хоть над ухом стреляй. И почему это старые люди всегда так храпят? Хоть бы на другой бок перевернулась... Если он твердо не знает, а только так думает, то и незачем ему было это говорить. Но и откуда же он может это знать? Разве это его вина, что он думает, будто никому на этой земле уже больше не нужен и никто не захочет его искать? И все-таки ему не надо было спешить вот так отвечать, поддаваться ей. Но и отделаться от нее не так-то просто, даже Шелоро не смогла. Так и допытывается, так и норовит ковырнуть под самое сердце.

- И на самое дальнее отделение запросился, а в мастерские к большому новому горну не захотел. Кто тебя там обстирывает, ну и все остальное?

- С этим, Настя, я давно уже привык сам справляться.
- А что это у тебя в вагончике за карты всегда расстелены на столе? Как ни заеду к тебе на отделение на мотоцикле, а ты над ними шепчешь. Как вроде школьные. Может, тоже надумал на заочное поступать?

- Это, Настя, карты не школьные. И на заочное мне уже поздно. Они у меня еще с тех пор сохранились, как я в разведке служил.

- Зачем же они тебе понадобились теперь?
- На них, Настя, осталась вся моя стежка на войне.
- Пора уже об этом забывать.
- Об этом, Настя, никогда не нужно забывать.
- А то, может, они тебе тоже бэш чаворо говорят?
- Нет, кочевать, Настя, я уже больше никогда не стану, это совсем другое, а к своим товарищам – и какие живые, и какие давно уже мертвые лежат – меня иногда тянет. Сам не знаю почему.

- А я знаю. С чего это ты вдруг вздумал, что совсем уже старый? Ты что же – умирать собрался?

- Откуда, Настя, ты это взяла?
- Это только к старости и перед смертью люди начинают всю свою прошедшую жизнь ворошить. Вспоминают и начинают своих бывших товарищей искать.
- Не совсем старый, Настя, но и не молодой уже.
- А вот я тебя, дура, все еще молодым считаю.

– Спасибо тебе, Настя.

За стеной помолчали, и потом она глухо сказала:

– Мне твое «спасибо» ни к чему.

Неужели же он так и не понимает, чего она добивается от него, чего хочет?! Или же он хоть и отвечает, а не слышит ее, она говорит ему о своем, а он думает свое. Так бывает. Но чтобы понять, чего она добивается, вовсе и не обязательно вслушиваться в смысл ее слов, а только в голос. Как будто у нее в горле какой-то комок или струна. То вся так и натянется, то опять ослабнет.

– Иногда может показаться, что ты сюда приехал насовсем, а иногда поглядеть на тебя – тот же приبلудный гусь при чужой стае. Каждую минуту можешь подняться и опять полететь. Что ты сам об этом думаешь?

– Чтобы на это ответить, Настя, нужно время.

– Сколько же тебе для этого еще надо времени?

– Этого я не могу сказать!

– Лучше бы ты сюда совсем не приезжал.

– Почему, Настя?

– Тебе хорошо: приехал, пожил и опять уехал, а до других, кто за это время к тебе мог привыкнуть, нет дела.

Его голос за стеной покорно сказал:

– Хорошо, Настя, я могу и теперь уехать.

– Куда?

– Куда-нибудь.

– Значит, тебе уже не нравятся эти места?

– Нет, места хорошие.

– Или люди?

– Как ты сам будешь к людям, так и они к тебе.

– Уехать, конечно, легче всего... А ты думаешь, мне легко здесь от своих же цыганок терпеть? Да и некоторые цыгане уже в глаза не глядят. Говорят, что из-за своей выгоды могла бы и родную мать в ложке утопить. А какая мне от всего этого выгода, какая?! Бывает, и мне иногда хочется завязать глаза и бежать от всего этого в город, и жить там, как все люди живут, да не могу. Мне детишек жаль бросить. И цыганских, и нецыганских. Я за это время уже успела привыкнуть к ним. У той же Шелоро одних дошкольников шестеро. Двоих она, когда уезжает на промысел, с собой берет, а еще четверо клубятся, когда они дома, некормленные и в грязи. Приходится их и на ночь в детском саду оставлять, и самой с ними оставаться. А тут и главный бухгалтер конезавода ругается. У нас, говорит, детсад, а не круглосуточный интернат, и по смете нет такой статьи, чтобы детей от живых родителей на полное государственное обеспечение брать. Но что же с ними делать? Они же не виноваты, что у них такие мать и отец.

– Ты, Настя, славная. Ты на меня, пожалуйста, не обижайся.

– За что же мне на тебя обижаться, Будулай?

– За то, что я тебя прокурором назвал.

– Так это же правда. Вот подожди, закончу заочный юридический и еще начну своих же цыган за бродяжничество судить. Тогда берегись и ты меня, Будулай.

А хозяйка храпит на весь дом. И машины, не задерживаясь, пробегают мимо, возят силосную массу к траншеям из степи. То, как полуденной знойной донской водой, затопят хатенку светом своих огней, то опять уносят их вглубь ночной степи. Нанизываются на нитку шляха, как желтые и красные, большие и маленькие мониста у Шелоро.

Все-таки дождалась от него этих слов: «Ты, Настя, славная». Нет, это хорошо, что Клавдия тогда удержалась, так ничего и не рассказала Ване. Если бы она не удержалась и рассказала в горячах, еще неизвестно, что бы теперь было.

Хорошо, что в этот момент Вани как раз не было дома – уехал за Дон, – и так получилось, что Нюра, встревоженная ее бурными слезами, стала успокаивать ее, как подружку, и невольно заставила рассказать ей все. И если даже на Нюру тогда так подействовало, когда она узнала, что Ваня ей не брат, то есть брат, но совсем по-другому, то что же тогда могло произойти с Ваней, если б он узнал? Но Нюра же, умница, и уговорила ее не рассказывать пока Ване. «А там, мама, видно будет». И Ваня, ни о чем не подозревая, уехал сдавать экзамены, и вообще в хуторе так никто и не узнал ничего, хоть и страшно удивлялись внезапному отъезду Будулая и рассудили, что это он, значит, к своим подался. Цыганская кровь потянула, голос крови. Если бы они узнали, что Будулай из хутора от родного сына ушел, что бы они тогда говорили об этом самом голосе крови?! И Луцилиха молчит, как воды в рот набрала, хоть и допытывались у нее женщины, как это Будулай перед самым своим бегством из хутора оказался у нее в доме и с какой бы это радости там случился с ним приступ. «Это вы у него спросите, а ко мне он заходил моего сибирькового выпить», – упорно отвечала всем Луцилиха одними и теми же словами, пока от нее не отстали. Но и к Клавдии она с того самого дня не показывает глаз, а, завидев издали где-нибудь на улице, спешит свернуть в ближайшую калитку.

Никто ничего не знает и не должен знать. Умница Нюра.

– Ну хорошо, я тоже с тобой выпью, налей мне, Будулай. А то, хочешь, сядем с тобой на мой мотоцикл и поедem в степь.

– Зачем?

– Я там знаю одно хорошее место, ягори разожжем. Я тебе наши песни буду петь и, если только захочешь, станцую для тебя. Для одного тебя – и не в клубе, а в степи, хочешь?!

Так, значит, ягори – это по-ихнему костер. Вот так можно жизнь прожить и не узнать того единственного слова, от которого, оказывается, может зависеть очень многое. Надеется, значит, что если так и не сумела его здесь словами приворожить, то, может быть, сумеет там, у цыганского костра. Думает, там ей помогут и ее песни, и пляски, и сама степь.

Цыгане же испокон степные люди, и все у них всегда происходит в степи. И родятся, и любят, и умирают. Там они, конечно, на своем языке скорее друг другу смогут понять. Ох и хитрая же она, хоть и молодая совсем. И слово-то какое – ягори, так и впивается в сердце. А тут ни единого цыганского словечка не знаешь. А хозяйка со своей койки поливает, как немецкий пулемет с буфа по степи. И машины проносятся мимо, как смерчи. Ш-ш-шарк – и уже не слышно.

– Уже совсем поздно, Настя, но если ты хочешь, то давай съездим.

– Ты только отвернись на минутку, Будулай, я индыраку надену. Не могу же я у ягори по-цыгански в этих стильных штанах танцевать.

За перегородкой зашелестело, щелкнул выключатель, опять пробрунжали под шагами половицы и почти беззвучно открылись и закрылись двери. Почти сразу же вслед за этим во дворе прямо под окнами ослепительно-бело вспыхнуло, оглушительно затрещало и тут же стало меркнуть и затихать, стремительно удаляясь.

– Ты что ворочаешься? Должно, моя квартирантка со своим Будулаем побудили тебя. Гудят и гудят за стенкой.

Вот это новость – старуха, оказывается, тоже не спит. Только теперь проснулась или уже давно?

– Нет, бабушка, душно у вас.

– А я под ватным одеялом мерзну. Это у тебя еще кровь горячая, не то что у меня. А то, может, тебе из погреба холодного компоту достать?

– Спасибо, бабушка, я не хочу.

– Затвердила: спасибо да спасибо. Ну а я тогда и подавно не знаю, чего ты хочешь. Спи. Теперь она до самого света будет ему у этого цыганского костра песни играть и плясать. И чего она в нем нашла? Я бы от одной его бороды на край света забежала. Что значит тоже цыганка. Спи. Теперь уже никто не помешает тебе.

И тут же, поворачиваясь на бок, опять засопела. Опять ничто не нарушало тишину, только машины время от времени пронеслись мимо по шляху, и свет их, бурно вливаясь в окна, то заполнял домик текучей желтизной, то, выливаясь из окон, снова убегал в темную степь.

Ах, как нестерпимо душно в прогретых за день набивных стенах этой хатенки! Влажный воздух так и липнет к лицу и к груди, давит на нее. Желтая шторка, за которой лежала на своей кровати Клавдия, отогнулась, и она в рубашке вышла во двор. И тотчас же ее босые ноги окутались ласковым мягким холодком увлажненной росой травы. Густо засеянное по фиолетовой пашне зелеными крупными звездами небо опрокинулось над табунным Задоньем. И вероятно, нигде еще больше не могло быть такой оглушающей тишины. Но если прислушаться, то была соткана она из этого ни на секунду не прерывающегося звона, издаваемого и слегка колеблемыми ветром лезвиями высоких трав, затопивших окружающую степь, и всем тем живым и невидимым, населяющим эти травы, что обычно пробуждается только ночью. И должно быть, только здесь еще и можно было услышать это радостно рыдающее эхо конского ржания, прорывающееся сквозь покров немоты откуда-то из самых глубин степи.

Туда же стремительно удалялось теперь по шляху и верещание крыльев большого кузнечика, тонким лучиком света, как иглой, прошивающего бархат ночи. Вскоре верещание превратилось в невнятный шорох, и сверкающая стежка, оставляемая иглой, стала меркнуть. Но вот вдруг она и совсем оборвалась вместе с шорохом крыльев. И вскоре после этого в том месте, в глубине табунной степи, засветилась и стала разгораться, разбрызгивая искры, рдяная звездочка.

Ничего нельзя было увидеть отсюда из поселка, кроме этой маленькой звездочки и какого-то смутного колебания теней вокруг нее, а может быть, и они только чудились взору. И радужными подсветами этого далекого цыганского костра лишь слегка озарялись крылья парившей над ним ночи. Но отголосок какой-то гортанной женской песни, возникшей там, все-таки донесся оттуда по руслу безмолвия, хотя ни мелодии ее, ни тем более слов уловить было невозможно. Однако почему-то и без этого можно было догадаться, о чем эта цыганская песня. И вдруг эта рдяная звездочка, ягори, стремительно приближаясь и разрастаясь, начинала охватывать душу, и она тоже начинала пылать на костре невыносимо жаркой августовской ночи.

Отсветами автомашин, пробежавших по шляху с ворохами молодого сена и только что скошенной комбайнами кукурузы, захватывало и на мгновение обрисовывало белую фигуру женщины, стоявшей посреди двора. Но Клавдия не замечала их и не двигалась с места. Это только в первый момент, когда она вышла из дома, ее освежила и могла даже показаться прохладней летняя августовская ночь, а на самом деле она была изнуряюще жаркой. И такой безветренной, что воздух, казалось, громадным удушливым стогом, смѣтанным из сладких и горьких запахов трав, навалился на землю. Тело покрылось испариной, и ночная рубашка облипала грудь и бедра. А скорее всего, и от этой рдяной звездочки, горевшей далеко в степи, исходил и распространялся вокруг жар. Все так же ничего нельзя было понять из той песни, которую эта цыганка пела ему там, у костра, как будто в клочья рвался ее приглушаемый расстоянием голос, и все-таки можно было понять, чего она домогается от него. И ничего, что могло бы смягчить жар этой августовской ночи, не было в безгранично распростертой вокруг чужой табунной степи, и Дон был отсюда далеко.

В сруб колодца, черневшего у изгороди на краю двора, Клавдия опустила притороченную к его журавлю цепь с ведром и, достав воды, долго пила ее прямо через край ведра, запрокинув голову и радуясь тем холодным струям, что проливались из него на ее разгоряченные плечи и грудь под тонкой ночной рубашкой. Но когда, напившись, она вновь подняла голову от ведра, из-под его дужки, опоясавшей своим полукружьем дальний край неба и степи, еще ярче, чем до этого, ударила ей по глазам, ослепляя ее, рдяная звездочка, ягори, расплываясь перед ее взором и разрастаясь в огромное зарево.

Нет, ни одной больше минуты нельзя позволить им оставаться там вдвоем, в степи. Там у нее столько друзей и помощников: и эти такие крупные зеленые звезды над головой, цыганская песня и ягори, огонь которого достигает до самого сердца. А если она еще и начнет по-своему, по-цыгански, плясать, увиваться вокруг него у костра, он уже совсем ничего не сможет сделать с собой. Недаром же она и решила увезти его с собой туда, в степь. Она хорошо знала, зачем ей это нужно, не такая она простая, эта цыганка, хоть и совсем молодая еще.

И тогда она со своей молодостью и с этими острыми звездами, которые вонзаются в самую душу, совсем возьмет над ним верх. Мужчины, говорят, слабые. Конечно, он не такой, как все, но ведь и она цыганка, и он цыган. И все сегодня как сговорились ей помочь: и эти звезды на фиолетовой пашне неба, и звон неисчислимой армии кузнечиков, осаждающих тишину, и все эти наплывающие со всех сторон из степи запахи трав, от которых кружится голова и томится сердце.

А тут одна, совсем одна посреди этой чужой степи, и никто тебе не поможет, не захочет помочь.

Но зачем же и стоит здесь этот привязанный к стояну огорожи конь?! Блестят лука седла, стремена, а на морду ему заботливый хозяин не забыл повесить торбу с зерном. Вот и стоит он совсем смирно, дожидает его. Роса падает ему на спину, на круп. Только иногда переступит ногами и шумно вздохнет.

Его конь. Не зря же его оставили тут стоять. И только он, единственный, и может сейчас ей помочь, в то время как той сговорились помогать все: и эта необъяснимо тревожная цыганская песня, и нестерпимо яркий и жаркий ягори, при свете которого она может показаться ему еще лучше со своей молодостью и со всем тем, чего еще не успело отнять у нее время.

Не одни же цыгане всю свою жизнь имели дело с лошадьми, а и казаки. И не только мужчины, но и женщины. Конечно, то время уже отошло, и она уже не помнит, когда последний раз садилась на лошадь, но в детстве ей не раз приходилось и кувшины с молоком и квасом, перекинутые через спину коня, возить из хутора отцу на покос, и даже гонять лошадей на Дон купать: ребят у них в семье не было. Вот так же в одной исподнице верхом заедет с песчаной косы в воду и купает.

А этот конь стоит подседланный и даже со стременами. Надо бы на минуту вернуться в дом, чтобы накинуть хотя бы юбчонку, но можно нечаянно разбудить хозяйку, и тогда уже она от тебя не отстанет. А костер горит, и она там, должно быть, уже пляшет перед ним, и он смотрит на нее своими – тоже цыганскими – глазами. А зеленые крупные звезды гроздьями висят над ними, как виноград в придонских хуторских садах. Все в этой глухой табунной степи сговорилось, чтобы ей помочь. И вся надежда теперь только на этого коня.

Но и заходить к нему надо потихоньку, а то еще он опять вздумает взвиться на дыбки, как давеча под ним на площади...

...Тпружень-тпруженька, ты на меня не шибко косись и не относи в сторону зад, я ведь твоему хозяину не совсем чужая. Я же его родному сыну мать. Ну вот и хорошо, вот и умница, а теперь неси к нему. Только побыстрее, так, как ты еще никогда не бегал. Если я опоздаю, то тогда уже всему и навсегда будет конец. И никакой другой надежды, кроме как на тебя, у меня больше нет. Плети у меня нет, чтобы тебя подгонять, но ты и без этого должен все понимать. Вот только так и не знаю я, как тебя твой хозяин кличет.

Стук копыт гулом прошелся по окнам поселка и вырвался в степь, но никто из спящих за окнами людей и не подумал проснуться, а тем более удивиться ему. Здесь, в этой табунной степи, чуть ли не у всех людей жизнь проходит в седле. И мало ли кому и по какой надобности сейчас нужно ехать верхом, скажем, на самое дальнее отделение конезавода или еще куда. А то, может, кто и возвращается от своей возлюбленной, от невесты или молодой вдовы и от подмивающего его счастливого веселья озорует – вот как гонит коня.

Думала ли она, что вот так будет скакать за ним в погоню на его же коне. И значит, сперва она сына у него украла, а теперь коня. И на нем же к нему и спешит.

«Ты лети, лети, мой конь...» – любил когда-то петь ее отец старую казачью песню. Лети, мой жалкий, мой тпруженька. Твой хозяин и не ждет нас сейчас, он думает, что никто его не станет искать и никому он, кроме этой цыганки Насти, не нужен на земле. А степя здесь и правда ровные, днем кругом на все стороны видно, а сейчас – одну только эту звездочку ягори. Могла ли она еще три дня назад представить себе там, в хуторе, что будет вот так почти телешом скакать верхом ночью по чужой степи?.. Если бы ей самой сказал кто-нибудь, она бы засмеялась ему в лицо. И что на его же коне она будет скакать к нему. Ваня и Нюра, посмотрели бы вы на свою мать. Рубашка сбилась у нее выше колен, и спасибо, темная ночь от нее же самой прикрывает весь этот срам. А растрепавшиеся волосы так и вьются вокруг головы. И все ради этой рдяной звездочки, этого жаркого цветка, который встречно разрастается, приближаясь из степи.

Ты лети, лети, мой тпруженька. Но он как будто и сам понимает, к кому ее везет, его не надо понукать. По обочинам дороги уносятся назад деревья, столбы, стога. И уже не так стало душно, и вся ночь пропахла одним только молодым сеном. Где-то здесь, в степи, и он пасет свой табун на этом коне. «Ты лети, лети...»

Самого, должно быть, быстрого и умного выбрал себе из табуна. Конь донской, а хозяин у него цыган. И ничего не нужно ему приказывать, сам понимает, что пора уже сворачивать с большого шляха на проследок, наторенный редкими машинами и подводами по траве, туда, где тонкими, колеблющимися стеблями ветвится пламя костра. Знает, где своего хозяина искать. В самую степную глушь она его завезла, хоть кричи. Думала, что там уже никто не станет его искать.

Ну а теперь ты уже скачи, пожалуйста, потише, тпруженька – так и не знаю, как тебя звать, а то копыта у тебя как весенний гром. Так и катится по степи. И негде ему задержаться, не за что зацепиться на этой ровени, даром же здесь выгуливаются табуны. Ни холмика, не говоря уже о том, чтобы какой-нибудь курган. Это тебе не по правому берегу Дона, где они, как какие-то большие птицы со смеженными крыльями, стоят.

Нет, вот там, правее костра, кажется, тоже темнеет и тускло серебрится полынью что-то наподобие курганчика или какого-то бугра. Вот мы, тпруженька, давай к нему и свернем и заедем к ихнему ягори с той стороны. И – чтобы по бездорожью, по мягкой траве. Еще тише иди, умница, а теперь – стой! Привязать тебя тут не за что, но все-таки мы придавим конец твоего поводка этим валуном, и смотри ты, стой совсем смирнехонько, не наостряй уши на голос своего хозяина и не вздумай, пожалуйста, ударить копытом или же еще, чего доброго, заржать. Теперь они тут от нас совсем рядом, прямо за курганом. Трава тут прямо под тобой, щипли ее сколько хочешь, а я полезу наверх.

– Ты слышал, Будулай, кажется, вроде лошадь проскакала.

– Должно быть, кто из табунщиков едет из поселка, загулял. Да мало ли кто может ехать!

– Но сейчас уже не слышно.

– А то еще бывает, Настя, отобьется от табуна какой-нибудь недоросток и шляется по степи, пока его не найдут.

Сверху, из-за тупой округлой вершины курганчика, хорошо видны и сам костер, и весь зыбко очерченный его пламенем круг полусвета-полумглы. Жарко и ярко горит курай, клубки

которого ветер нагреб к подножию кургана с той стороны, – надо только руку протянуть за черту красновато-синего круга. И Будулай, который, поджав под себя ноги и сгорбившись, сидит к кургану спиной, так и делает, время от времени протягивая руку в темноту и бросая в огонь косматую траву клубок за клубком.

А Настя во весь рост стоит прямо против него по ту сторону костра и даже не стоит на одном месте, а все время движется, вихляется всем своим тонким телом, как и жаркие стебли пламени этого цыганского ягори. Из-за ее спины поблескивает оправа ее металлического коня, на котором она привезла сюда Будулая.

– Ну а ту песню, которую всегда пела Галя, ты не забыл, Будулай? Хоть я и была тогда совсем маленькая, а она еще не замужем, я хорошо помню, как вот так же горит яг перед вашим большим шатром, а ты смотришь на нее и улыбаешься и как она стоит перед тобой и хлопает в ладоши, чтобы раздражить тебя. А то еще возьмет и вынесет из нашего шатра старый бабушкин бубен, чтобы поскорее тебя раздражить. Ты всегда любил на нее смотреть. Но у меня с собой сейчас бубна нет, я его в наш драмкружок отдала, и придется обойтись без него.

И вдруг грубым гортанным голосом, который так был не похож на ее обычный, она запела на своем языке.

При этом она не танцевала, а сама же ладошами и подхлопывала себе, извиваясь, как и пламя костра. Но с вершины кургана можно было видеть, как ее широкая индырака, колоколом раздуваясь вокруг ее бедер, временами почти закрывала собой весь огонь и, подсвеченная им снизу, становилась ярко-багровой. Будулай сидел перед костром с сутуло опущенными плечами, а она все чаще хлопала перед ним в ладоши.

Мягкая молодая полынь на склоне кургана, увлажненная росой, охлаждает разгоряченную грудь, но от ее густого резкого запаха, ударяющего прямо в ноздри, кружится голова. А может быть, еще и оттого, что так и кружится перед глазами – там, внизу, – эта индырака, пурпурно вспыхивая над костром... Незнакомая, совсем непонятная песня, и чужая, очерченная призрачным кругом этого полукрасного-полусиреневого света жизнь. И он в черте этого круга вместе с ней. А с другой стороны кургана похрустывает молодой травой его конь.

Внезапно и это багровое кружение, и ее песня оборвались, и уже не грубо-гортанным голосом, а своим обычным Настя разочарованно сказала:

– А ты совсем и не смотришь на меня, и не слушаешь, Будулай. Ты все время смотришь только на огонь.

– Необязательно, Настя, смотреть, чтобы слышать. Я эту песню хорошо помню.

Конечно же, он ее помнит, как, должно быть, и всю свою прошлую цыганскую жизнь. И есть ли на земле такая сила, чтобы она смогла выхватить его из круга этих воспоминаний, подобного неверному, призрачному кругу полусвета-полутьмы, в котором он сейчас находится вдвоем с нею, лишь изредка протягивая руку за его черту, в темноту, за топливом для костра?

– А еще ты помнишь, какой у цыган был обычай, Будулай?

– Не знаю, Настя, о каком ты говоришь.

– Если у рома умирала жена, ее младшая сестра должна была пойти за него замуж.

– У цыган, Настя, было много таких диких обычаев.

– Конечно, Будулай.

– И почти все они были против женщин. С женщиной, Настя, не считались. За кого скажут, за того и должна пойти. Даже если он уже почти старик, ну как я, а она, как ты, еще совсем ребенок.

– Я уже не ребенок, Будулай.

– Это я, Настя, к примеру сказал.

– И ты, как я уже тебе говорила, не старый. Конечно, среди наших цыганских обычаев много диких. Но есть же среди них и хорошие, Будулай.

Земля возвращает удары тесно прижавшегося к ней сердца, и опять они уходят в землю, чтобы, приумножившись там, снова вернуться, так что потом уже не понять, где же они рождаются, откуда они. Так вот еще, оказывается, какие у них есть обычаи. И чего же она еще у него спрашивает, забыл он про них или не забыл, если хорошо знает, что он все помнит и никогда не сможет забыть, как помнит и ту песню, которую когда-то пела ему его Галя. И все же что он теперь станет отвечать?..

И тут из-за кургана, из-за его скрытой от них и темной стороны, не освещенной отблесками костра, коротко заржал конь. Почуял, должно быть, близость своего хозяина, услышал его голос и решил отозваться. Совсем тихо заржал, но достаточно, чтобы его хозяин забеспокоился и, вставая у костра, повернул в ту сторону голову:

– Чудно.

– Ничего чудного в моих словах нет, Будулай.

– Да нет, Настя... Ты что-нибудь слышала?

– А что я должна была слышать?

– Я помню, что я своего Грома хорошо к стояну привязал, а сейчас мне послышался его голос.

Впервые и его самого, озаряемого отсветами костра, так хорошо видно сверху, с кургана, во весь рост, и то, как он уже подносит ко рту руку, чтобы свистнуть, как это всегда делают табунщики, когда зовут лошадей. Боже ж мой, ведь всего этого могло и не быть, если бы она, Клавдия, не шарахалась от него тогда в хуторе. Ничего бы теперь этого не было – ни костра, ни Насти. И все было бы совсем иначе. А сейчас он заложит в рот пальцы, конь его сорвется с непрочной привязи – и тогда так можно и остаться здесь, на кургане, посреди чужой степи, в одной рубашке.

– Это тебе и правда почудилось, Будулай. Успокойся, твой Гром стоит сейчас в нашем дворе, а если бы он даже и сорвался, то там же и бродит, никуда не уйдет, я сама накинула на калитку обруч. Садись.

С кургана видно, как поднявшаяся было рука после некоторого колебания опускается, а потом он и сам опускается на землю у костра, опять начиная подкармливать его кураем. Огонь разгорается ярче и чадит. На вершину кургана доносится едкая горечь.

– Хочешь, Будулай, я теперь станцую тебе? – говорит Настя, но тут же сама и отказывается: – Нет, не буду. Опять ты и не глядишь в мою сторону, а только киваешь головой. Все на огонь и на огонь. А я-то, дура, выламываюсь перед тобой. Кого ты там хочешь увидеть?

– Просто смотрю.

– Я знаю. Опять эта женщина. Ради нее ты и от родного сына отказался, а теперь она и тебя самого за душу держит. Виданное ли дело, чтобы цыган своего кровного сына отказался признать?!

– Настя!

– Вот когда поеду на Галину могилу, найду ее и обо всем этом ей сама скажу.

– Ты этого не сделаешь, Настя.

– Почему? Поехать на могилу моей сестры мне никто не может запретить.

– Ты же знаешь, что все это неправда и ты сама, Настя, не такая, как сейчас говоришь.

– Вон, значит, как ты ее жалеешь. Даже меня ради ее покоя не забыл похвалить. Спасибо и на этом. Ненавижу я ее! – вдруг крикнула она так громко, что Клавдия на кургане вздрогнула. И Настя еще что-то добавила по-цыгански, но его испуганно-негодующий голос перебил ее:

– Как тебе не стыдно, Настя! Ты же ее не знаешь совсем.

– А ты что же, хочешь, чтобы я ее тоже стала любить? Очень много ты от меня захотел. Я ведь еще и цыганка, хоть Шелоро и говорит, будто я совсем забыла об этом. Ненавижу, хоть бы она, проклятая, сдохла!

– Настя! – еще громче и строже повторил Будулай.

А может быть, встать сейчас на кургане и крикнуть им, что она здесь и чтобы они прекратили, не смели больше в ее присутствии говорить все эти слова. Вот не будет ее здесь, и тогда пусть говорят все, что угодно. Она ведь не совсем бесчувственная, не деревянная или каменная, и с нее довольно того, что она уже наслушалась. И за что же? За то, что она тогда подобрала в кукурузе и вырастила Ваню? Нет, она, конечно, сделала это не ради благодарности, а из-за Вани, и что бы теперь эта Настя ни говорила, а он сын ей, сын, такой же, если даже и не больше, родной, как Нюра. Она только хочет, чтобы ее оставили в покое и не говорили о ней всех этих слов, от которых у нее в душе уже не осталось ни одного живого места.

Но ведь не они искали и звали ее сюда, а она сама бросилась за ними вдогон. Они и не подозревают о ее присутствии, если бы они только знали... Не хочешь слушать, так и не слушай, никто не заставляет тебя, не приподнимай и не тяни голову, вбирая в себя каждое слово с горькой отрадой и сладкой болью.

– Теперь, Настя, уже совсем поздно. То есть рано, скоро утро. И мне уже пора на отделение ехать, на смену заступать.

– Нет, нет, Будулай, я еще не успела тебе самое главное сказать. – И укоризна сплелась в ее голосе с грустью: – А ты даже и не поинтересуешься у меня, что я хочу сказать.

– Поздно, Настя.

– Что ты заладил все одно и то же, это я и без тебя знаю. Ну, если не хочешь спросить, то я все равно тебе сама скажу. Ты только не куда-то в сторону смотри, там никого нет, а на меня. Это мне должно быть стыдно, а не тебе. Хочешь, бери меня так, Будулай!

– Лучше нам сейчас отсюда уехать, Настя.

С кургана видно и то, как там, внизу, он поднимается с земли и делает шаг в сторону, к мотоциклу, поблескивающему своей оправой из-за черты призрачного круга, и то, как она заступает ему дорогу.

– Нет, после того, что я тебе сказала, ты не можешь уехать, – жарко и жалобно говорит она. – Еще ни одна цыганка никому не говорила таких слов. Теперь ты слышал, я на все согласна. Не надо никакой свадьбы, ничего не надо, а там, может быть, ты и полюбишь меня. Ты почему молчишь? Я ведь не совсем тебе противна, да? Я тебя буду любить еще больше, чем Галя. Я знаю, что ты думаешь об этой женщине из-за Вани, но он уже совсем большой вырос, и у нас с тобой тоже будут дети. А если все же не полюбишь, то я тебя неволить не стану, как другие своих мужей. Ты не думай, что это я по своей молодости, я уже все давно обдумала и жалеть потом не стану. Ты, пожалуйста, не в сторону смотри, Будулай, а на меня. Разве я такая уж совсем никудышная? Хуже ее, да?

И, висясь перед ним, протягивая руки, она шла к нему. Юбка кружилась и вспыхивала у нее вокруг бедер. А он стоял не двигаясь и смотрел на нее в черте призрачного круга, раздвинувшего темноту августовской ночи, и озаряемый его полукрасным-полусиреневым пламенем.

Нет, на это она, Клавдия, уже ни за что не станет смотреть. Это уже не для ее глаз и выше ее сил. Довольно, она уже заглянула за черту этого круга, за которой была совсем другая, чужая и непонятная для нее жизнь. И по какому праву она должна вторгаться в круг этой жизни?! Он – цыган, и она – цыганка, у них одни и те же обычаи, один язык, они все равно друг друга поймут.

Прочь с этого кургана, прочь! Смоченная росой полынь скользит под босыми ногами, навстречу чутко поднял голову конь... Этого она не должна видеть. Если еще и оглянуться на них, то только один раз, в самый последний раз. И отныне уже навсегда, на всю жизнь останутся перед глазами, как вчekanенные дымным заревом костра в фиолетовое небо, эта цыганка с

протянутыми вперед руками, в развевающейся красной юбке и он, не сводящий с нее взора, как вросший в землю.

А теперь, Громушка, неси обратно. Теперь-то я уже знаю, как тебя твой хозяин зовет. Но это уже не имеет значения. И пусть, тпруженька, он так и не узнает, что мы с тобой тоже были здесь. Нам бы совсем не нужно было этого делать, но разве человек знает наперед, как захочет распорядиться им жизнь? Теперь уже можешь не бояться, что они услышат цокот твоих копыт.

– Подожди, Настя: слышишь, кто-то скачет?

– Ну и пусть. Это мимо. Ничего я не хочу больше слышать, Будулай.

Предрассветная степь отлетает назад с ее темными лохматыми шапками смётанных по сторонам стогов сена, и частая дробь копыт по дороге, сливаясь, и правда катится как гром. Все дальше позади остаются и ягори, и эта чужая жизнь, в которую ей совсем не надо было заглядывать, никто ее не просил. И почему же она всегда должна становиться поперек чужого счастья? Достаточно с нее, что она уже отца разлучила с сыном.

Так нет же, не она их разлучила, а все война. И теперь уже ничего не поправить, не нужно и нельзя. Еще тогда можно было, когда он не уходил из хутора, и тогда не было бы теперь ни этого ягори, ни Насти, ни этой скачки по ночной табунной степи, но тому, что в свое время не случилось, уже не случится, и, значит, не суждено.

Мой Ваня, мой! Но все равно уже она больше никого не станет разлучать. И эта цыганочка Настя совсем ни в чем не виновата перед ней, ни в чем.

Ты лети, лети, мой Гром... Все как-то мешается, путается в голове, и как будто это он не ее, Клавдию, везет, а какую-то другую женщину. А Клавдия смотрит на нее, как она скачет, со стороны.

Нет, она не должна об этой Насте плохо думать, и не будет. Она, Клавдия, одного только Ваню подобрала и воспитала, а эта цыганочка вон для скольких детишек стала как мать.

А сама тоже несчастная. И что это она за жизнь, так распорядается: то один другого любит без всякого ответа, а то и оба, может быть, любят друг друга, а чтобы вместе им жить начинать, одной семьей, – поздно уже, поздно. Бедная, такая молодая, так его любит и...

Вот, значит, как они умеют любить! Даже своих цыганских законов не побоялась и согласна на все. А он и правда как будто бы смотрит на нее и не видит.

Но теперь это ей, Клавдии, уже все равно. Все осталось позади. И что там теперь происходит, у этого ягори, ей совсем не нужно знать. Они оба цыгане и сами друг дружку поймут.

Как по-страшному холодно перед зарей в этой табунной степи, и густая роса падает на плечи почти как дождь. Пожалуйста, еще шибче, Гром, а то вот-вот рассветет, а я еду на тебе верхи в одной рубашке. Вот бы Ваня с Нюрой поглядели на свою мать. И если бы кому-нибудь в хуторе рассказать – ни за что не поверят.

Ну и что ж, что молодая, разве только одни молодые и умеют любить?.. И не та ведь любовь самая сильная, какая вся сверху, наружу. У молодой и вся жизнь еще впереди – и любовь еще будет, и все остальное, – а вот как быть, если никакой другой любви уже не останется, не может быть?! И теперь уже наверняка ее не будет. Гром, хоть ты и вез меня туда хорошо, а теперь везешь обратно. Еще прибавь рыси.

Ворвавшийся в поселок конский топот крупным градом прошелся по окнам домиков из конца в конец улицы и оборвался у самого крайнего дома... Тпруженька, спасибо тебе – и не ты виноват, что все так кончилось, некого тут винить. А теперь стой и отдыхай, вон ты какой горячий и даже взмыленный, но воды я пока тебе не дам – нельзя, а только опять повешу торбу. Напоит тебя потом хозяин. Смотри береги его.

И она два раза коротко поцеловала коня в чуткие ноздри. На губах у нее остался солоновато-горький привкус.

Теперь надо только не разбудить хозяйку, тихо одеться и – на первую же машину, что бегут и бегут мимо по шляху. Боже ж мой, а ведь она туда и обратно проскакала почти теле-

шом. И все это для того, чтобы увидеть то, чего ей совсем не надо было видеть. Не надо было заглядывать в чужую и загадочную жизнь.

А рубль за ночлег надо положить под ту вазочку с бумажными розочками, которая стоит на столе. Шаря в темноте руками по клеенке стола, она неосторожно зацепила вазочку и опрокинула ее набок. Ах ты господи, еще этого недоставало! Но и стук упавшей вазочки хозяйка заглушила своим густым мужским храпом. Видно, перед зарей ей, старой, особенно хорошо спится, и она по-детски чмокает губами во сне.

Зато хорошо смазанные двери ее домика отворяются и затворяются совсем беззвучно. Пусть не обижается, что Клавдия так и не простилась с ней.

Теперь только надо перед дорогой попить. Напившись из стоявшего на срубе колодца ведра и поднимая глаза, Клавдия сквозь ведерную дужку увидела, что рдяной звездочки в том месте степи, откуда она только что прискакала, уже не было. Выпрямляясь, она лучше поискала глазами по степи – нет, костер погас. И еще прежде, чем она успела что-нибудь подумать, она уловила нарастающий с той стороны, из степи, знакомый звук. Как будто оттуда большой кузнечик летел. Вокруг нее верещала неисчислимая армия других ночных кузнечиков, но только в этом одном и таилась сейчас для нее опасность. И если ей не поспешить, опять она может опоздать.

Только из машин, что бегут мимо, надо выбрать не ту, чьи огни выворачиваются прямо из-за поселка, с кукурузного поля, а сквозную, еще издали оповещающую о себе заревом по шляху.

Как на грех, идут одни только местные. Только что скошенная кукуруза пахнет не так, как молодое степное сено, но все же и после нее над дорогой еще долго веет какой-то сладостной свежестью, как будто молозивом.

Но вот, кажется, и сквозная... Прощай, тпруженька, прощай, Гром. С поднятой рукой она метнулась на шлях.

Часть третья

Опять зашевелились цыгане. Не то чтобы и до этого они так и оставались сидеть там, где застал их Указ. Не в силах задержаться где-нибудь чересчур долго, томимые беспокойством, они так и перебирались от хутора к хутору, от села к селу на одиноких телегах, чаще всего ночами по глухим проселкам, еще и ныне устланным золотом соломы. Но только теперь так сразу и высыпали на все дороги.

И опять невнятно шлепают копыта по пыльной дороге, юзжит колесо, и умная собака, спасаясь от палящего солнца, прячет сзади между колесами голову в тени брички.

Вблизи городов колеса цыганских бричек съезжают с мягкой степной дороги на асфальт. Обгоняя их, ревут и теснят их на обочины могучие самосвалы, междугородные экспрессы и легковые автомашины, набитые празднично одетыми людьми, глазающими на них сквозь толщу стекол. Там, за этими стеклами, совсем иная жизнь. Непонятная, как и этот пластмассовый чертик, прыгающий на шнурке за козырьком шоферской кабины. А из-за тылового стекла «Волги» сонный бульдог тоже презрительно поглядывает на цыганскую собаку, неотступно бегущую у колеса брички.

На больших перекрестках и при въездах в города милиция, начавшая было отвыкать от подобного зрелища, строго останавливает цыган, спрашивая паспорта:

– Опять ударились кочевать?

Посыпавшись с бричек, цыгане и цыганки, обступая блюстителей порядка, поднимали многоголосый гомон, как грачи на весенних ветлах:

– Нет, мы не кочуем, товарищ начальник!

– Мы к родственникам едем!

– Откуда?

– С-под Мариуполя.

– А где же ваши родственники живут?

– На Кубани.

Паспорта у них оказывались в порядке, и самому придирчивому взору нельзя было придраться: еще совсем новенькие и с соответствующим штампом на соответствующем месте.

– Ну а что же вы скажете насчет ваших коней?

Цыгане с грустным достоинством поправляли:

– Это, товарищ начальник, не наши, а колхозные. У нас теперь своих собственных коней не бывает, а этих за нами колхоз на время командировки закрепил. Заместо премии за нашу работу на кукурузе.

– Все вы, конечно, врете, – с суровым восхищением заключал страж законов.

Но и придраться не было оснований: и на лошадей документы были выписаны у них по форме. За подписью председателя колхоза и с круглой печатью.

А в ногах у блюстителя порядка так и вились, шныряли черноголовые и все кудрявые, как на подбор, цыганские ребяташки. И сердце его смягчалось. Тем более что в этом цыганском Указе нигде не было сказано, что им запрещается ездить друг к другу в гости. И вообще он сам теперь толком не знал, остается ли в силе этот Указ. Может быть, самим цыганам об этом лучше известно, если они все сразу так бесстрашно ринулись в дорогу. Как прорвало их.

И всемогущий жезл в руке у блюстителя порядка поднимался, открывая им дорогу. А если это было перед шлагбаумом, то, значит, он медленно вздымал перед кибитками свою полосатую шею.

Иногда, пересекая степь кратчайшим путем, перебираясь напрямик от одного большого тракта к другому, оказывались они и поблизости от того глухого, отдаленного от людских взо-

ров урочища, где пас свой табун Будулай. Проезжая мимо, заворуженно поворачивали головы к золотистому живому облаку, прильнувшему к зеленой груди луга, и кричали Будулаю:

– Бэш чаворо! Бэш чаворо!

Будулай отшучивался:

– У меня нет коня.

Его соплеменники удивлялись:

– А этот, тонконогий, под тобой, чей?

– Этот чужой.

Они непритворно восхищались, ощупывая глазами Грома:

– Хороший калистрат⁶. А мы-то думали: если цыган сел на коня, значит он уже его собственный.

– Раньше я тоже так думал. Езжайте, рома, своей дорогой.

– Вот ты какой. Ну тогда давай мы украдем для тебя этого коня из табуна. А заодно и для себя.

– Лучше не надо, рома.

– Почему? Нам их всего трошки надо, а тут их тыща.

– При этом табуне сторож глазастый.

– А мы ночью.

– А он по ночам еще лучше видит.

Соплеменники Будулая скалились:

– Да ты, видать, и сурьезно поверил, будто нам твои неукы нужны. Не бойся, у нас свои одры есть. Выгуливай своих, сколько тебе влезет; может, тебе за это орден дадут. Рома у рома коня не украдет. Ты тут в глуши, должно быть, совсем от цыганских законов отвык.

Но своих одров они тем не менее принимались нахлестывать кнутами, оглядываясь на двух громадных серых псов, лежавших у ног его коня. Не дай бог кинутся вдогон. Откуда они могли знать, что эти свирепые по их виду псы обучены были только против волков, навещающих в этой глухой степи к табунам не только в зимнее время. Еще не хватало, чтобы собаки рвали людей.

Увозя соплеменников Будулая, беззвучно катились брички по травянистой дороге. Молодые цыганки, выпростав из кофт груди, кормили на солнцепеке своих смуглых младенцев. А головки других их детей шляпками подсолнухов свешивались из-за бортов бричек, и прощальный блеск их глаз осыпался на сердце Будулая пеплом необъяснимой печали.

Чего они ищут? Опять серая пряжа дороги будет наматываться и наматываться на колеса их телег. И с этих черноголовых подсолнушков ветром времени будут вылущиваться семена, из которых опять будут вырастать прямо на дорогах все такие же неизлечимые бродяги. Как будто за чем-то гонятся или же кто-то гонится за ними. Как будто хотят уйти от настигающего их времени, чтобы остаться такими, какими были всегда.

И даже в самый безоблачный день, когда ничто вокруг не угрожает им и их жалким шатрам, раскинутым между оглобель бричек в тихой степи, – цыганки спят, а их дети тут же кувыркаются на зеленой траве, – вдруг, по одному только слову, по знаку старшего, мгновенно снимаются, даже не затушив костров, и скрипят колеса, наматывается на них серая пряжа, которой нет конца.

Но Будулай весь этот серый клубок, который назначено ему было намотать за свою жизнь, уже намотал и теперь разматывать его не станет, хватит. А если и есть из всех избороздивших эту степь дорога, которая иногда вдруг как будто вздрогнет струной и простегнется через его сердце от того места, где она начинается, то возврата по этой дороге уже нет, не может быть. Теперь здесь и закончится его нить.

⁶ Верховой конь.

И когда начальник конезавода, генерал, объезжающий по субботам табуны, выкатываясь из своего старенького, еще фронтового, «виллиса», начинал иронически допытываться у Будулая:

– Как, а ты, цыган, все еще здесь?

Будулай спокойно отвечал:

– Здесь.

– И может быть, скажешь, не собираешься в бега?

– Не собираюсь, товарищ генерал.

Маленькому, квадратного телосложения генералу надо было наворачивать шею, чтобы снизу вверх заглянуть в лицо Будулая.

– Какой же ты после этого цыган?

Не раз подмывало Будулая ответить на это как-нибудь порезче. Во-первых, чтобы наконец отучить его от этой привычки всем говорить «ты», и, во-вторых, чтобы он не смел вот так пренебрежительно говорить обо всех цыганах, даже если это и правда, что многие из них уже опять зашевелили ноздрями на ветер.

Но каждый раз Будулай сдерживался. Может быть, и потому, что это был не какой-нибудь тыловой, а заслуженный и к тому же кавалерийский, казачий генерал, а Будулай и служил в кавалерии на фронте. Но скорее всего, потому, что из его слов еще не следовало, что он вообще так относится к цыганам. Надо было войти и в его положение начальника конезавода, к столу которого в один прекрасный день соплеменники Будулая – табунщики, коневоды, ездовые – так сразу и выстроились в очередь за расчетом. Как будто их всех одна и та же бродячая собака укусила. И теперь каждому укушенному ею надо было срочно найти в этой табунной степи замену. Попробуй найди, когда тут и поселки разбросаны друг от друга на пятьдесят, на сто километров.

И на конезаводе место начальника он занимал не из-за одних только своих звезд, вышитых на его плечах золоченой ниткой. Не для того, чтобы слепить ими своих подчиненных, совершал и свои регулярные объезды табунов. Сам умел отбраковать лошадей для продажи колхозам и сам же безошибочно отобрать из элитной массы для службы на границе, на экспорт и на племя. И нередко, пересаживаясь со своего «виллиса» в седло, ездил с отделения на отделение, ревизуя состояние лугов, водопоев, конюшен. Нелегко при этом приходилось тому из табунщиков, кого прихватывал он с собой в сопровождающие в поездке по степи. К вечеру, к концу этого кольцевого маршрута от табуна к табуну, сопровождающий от усталости уже валился с седла, а генерал держался все так же прямо, как вырубленный вместе со своей англо-донской кобылой из одной золотистой глыбы. Не упуская при этом случая попенять: «Не верхом бы тебе ездить, парень, а волам хвосты крутить».

Но к Будулаю он, кажется, претензий не имел. А как-то даже, когда уже замыкался круг их инспекторского объезда под изнурительным солнцем, вскользь заметил:

– А у тебя, цыган, посадка казачья.

И спрыгнул с лошади так, что земля охнула под ядром его тела. Высшей похвалы для человека он, кажется, не знал.

Однажды Будулай, пообедав у себя в домике на отделении и тихо настраивая радиоприемник, не услышал, как подкатил за стеной «виллис», и обернулся только тогда, когда генерал уже остановился у него за спиной, тяжело дыша.

– А это у тебя откуда? – спросил он, заглядывая через его плечо. И не успел Будулай ответить, вдруг так и вонзился в расстеленную на столике карту, прочеркнутую с угла на угол красной стрелой с нанизанными на нее синими кружками. – Постой, постой, а откуда же тебе все это может быть известно?!

Будулай встал:

- Оттуда же, откуда и вам, товарищ генерал.
- Ну это ты потише. По этому маршруту все-таки моя дивизия шла.
- Да, товарищ генерал.
- И что-то я не помню, чтобы кто-нибудь из цыган в моей дивизии служил.
- В вашей дивизии, может быть, и нет, а в соседней служил, товарищ генерал.
- В Двенадцатой?
- В Двенадцатой.

– Уж не хочешь ли ты сказать, что ты и есть тот самый цыган, который в разведке Двенадцатой служил?

Будулай бросил взгляд на золотое шитье погон на плечах его кителя и по привычке опустил руки.

- Так точно, товарищ генерал.

Начальник конезавода махнул рукой:

– Это теперь необязательно. Хотя, вообще-то, я придерживаюсь другого мнения. Из-за этого да еще из-за лошадей и на конезавод согласие дал. Так, значит, и меня ты помнишь?

Будулай еще раз украдкой взглянул на его погоны.

- Но тогда вы были...

– Правильно, полковником. Это, – скособочив короткую шею, он тоже скосил глаза себе на плечо, – я уже вместе с приказом об отставке получил. Когда расформировывали наш Пятый Донской корпус. Списывали конницу в архив... – Взгляд его долго блуждал по зелено-вато-бурому полю расстеленной на столе карты и с видимым усилием оторвался от нее. – Ну а если ты и есть тот самый цыган, значит ты должен знать, как это вам в Двенадцатой удалось тогда из конюшни румынского короля Михая жеребца увести?

- Об этом мне неизвестно, товарищ генерал.

– Как же так? Я лично присутствовал, когда командующий фронтом Федор Иванович Толбухин приказал нашему новому комкору Горшкову и его замполиту Привалову в наказание за то, что так и не разыскали королевского жеребца, по громадному бокалу спирта осушить. Дело уже старое, и теперь ты мне можешь как на духу признаться. Все равно дипломатического скандала из-за этого теперь уже не может быть. Да и самого Михая наши румынские союзники давно престола лишили.

Будулай улыбнулся:

- Мне признаваться не в чем, товарищ генерал.
- Вы же, цыгане, всегда были конокрады.
- Когда-то и меня отец хотел к этому приучить, но только не успел.

Генерал был явно разочарован.

– Получается, зря два моих хороших товарища пострадали. Горшков еще догадался тут же спирт водой запить, а Привалов чуть не задохнулся... И после войны я еще долго интересовался у знакомых начальников конезаводов, не повелось ли где-нибудь у них от этого жеребца королевское племя. Вполне могло быть, что казачки потом переправили его по тылам домой. – И он осуждающе посмотрел на Будулая, как если бы на нем и в самом деле лежала вина за то, что этого не случилось.

Не откладывал он свои инспекторские объезды и зимой, когда с соседних Черных земель налетали на табунную степь снежные бури. С шофером, который водил его «виллис» еще на фронте, будет откапываться из заносов весь день и нагрянет уже ночью с обмерзшими усами, в бурке, покрытой ледяной коркой. Возьмет фонарь и идет в конюшню, где бились в конвульсиях, освобождаясь от бремени, чистокровные донские кобылицы.

Но пожалуй, еще чаще наезжал на отделения, нервничая и придираясь ко всему, когда на заводском ипподроме, разутюженном бульдозерами посреди сочно-зеленой майской степи, начинались ежегодные зональные скачки.

Каких только мастей лошади не вкрапливались накануне дня скачек в этот луг, волнами набегающий из степи на чашу ипподрома: и караковой, и гнедой, и вороной, и рыжей, и серой, и темно-серой. Не только местных – донской и буденновской, но и кабардинской, чистокровной верховой, терской, английской и даже арабской пород. О чем бы только не вздохнул и чему бы, наверное, не улыбнулся тот, кому захотелось бы получше прислушаться к их кличкам: Электрон, Радиограмма, Загадка, Гладиатор, Азимут, Пантера, Бабетта, Экран, Ангара, Интеграл, Гавана, Эпоха. И в пору поверить было, что с тюльпанами, цветущими в это время по окрестной степи, намеревались поспорить их жокеи цветами своих камзолов: и зеленых с желтыми рукавами, и розовых, опоясанных красными лентами, и алых, и темно-бордовых, и иных. Как и картузами, обязательными и для спустившихся сюда с кавказских отрогов на своих скакунах карачаевцев, кабардинцев, балкарцев, адыгейцев, черкесов, чеченцев, ингушей, осетин; и для хозяев этих степей – казаков; и для неперменных участников скачек – цыган. Без них не обходились скачки.

Два года подряд ухитрялся у самого финишного столба урывать у именитых наездников Весенний приз для полукровных трехлеток маленький и тщедушный Егор Романов. Скакали и другие цыгане. Но Будулая, хоть он и был табунщиком, среди них не было. Ему больше нравилось находиться в это время среди зрителей.

Должно быть, после многомесячного зимнего одиночества нравилось ему вдруг очутиться среди веселой суеты и многоцветной толпы, испещренной блесками парадных погон и фуражек заслуженных кавалеристов, которых, оказывается, так много жило в окрестных городах и станицах. Прямо в степи играет духовая музыка, и от прекрасных лошадей не оторвать взора, а вокруг – майский луг. И так ли трудно поверить, если при этом взору вдруг явственно может почудиться, что это не теперь стелется облако скачущих лошадей по разутюженной бульдозерами дорожке, а двадцать лет назад на ипподроме, расчищенном казаками саперными лопатами, когда кавкорпус после боев под Ростовом отвели на отдых в Задонье. И это не кто-нибудь иной вырывает победу у самого финишного столба, а он, Будулай, и получает из рук комкора генерала Селиванова заслуженный приз – верхового коня.

Но теперь он только стоит, смеясь и радуясь вместе с другими зрителями тому, как, стоя на седле во весь рост, совершает по ипподрому положенный круг почета счастливый Егор Романов под звуки оркестра и громкие крики не одних только цыган. Однако громче всех, конечно, кричит его разнаряженная и нарумяненная Шелоро, а рядом с нею стоит и тоже машет Егору рукой Настя.

Если не считать хутора Вербного, где он согласился бы, если б это было возможно, остаться до конца своих дней, из всего, что ему встретилось на пути, когда искал он свою семью, никакое другое место, пожалуй, не пришлось ему так по душе. И не только тем, что оно вообще было такое спокойное, затерянное среди шорохов и запахов трав, а лошади, с которыми он проводил все свое время, только говорить не умели. Иногда и это спокойствие вдруг сметалось черными бурями, и табуны, обезумев от ужаса, начинали метаться в пыльной мгле из края в край степи... Но больше всего тем, что с людьми, с которыми он вместе пас лошадей в этой степи, можно было жить, не опасаясь, что они начнут о чем-нибудь расспрашивать или же что-нибудь советовать, прежде чем сам придеешь к ним за советом. А это со временем Будулай все больше начинал ценить в людях.

И если он теперь до конца своих дней так и останется один, то все же не так будет чувствовать свое одиночество среди этих людей. Вот и «виллис» начальника конезавода уже не только по еженедельному графику появляется на его отделении, а и в другие дни, когда генералу особенно не терпелось отвести свою душу в воспоминаниях с кем-нибудь из бывших конников.

Но от треска Настиного мотоцикла Будулай уже стал отвыкать. С той самой поры, когда так и не захотел оставаться у костра в ночной степи, на чем тогда настаивала она, Настя.

Искупав перед вечером в озере табун и конвоируя его на усадьбу, он издали увидел, что у него гости. У вагончика, где он жил, стояла пароконная подвода, и на ступеньках сидели мужчина и женщина. Его ждали. Когда они бросились со ступенек ему навстречу, он с удивлением узнал Егора и Шелоро. Раньше они никогда его здесь не навещали.

– Здравствуй, здравствуй, Будулай! – радостно говорила Шелоро. – А мы вот с Егором надумали провести, как ты тут живешь в глуши.

– Да, – подтвердил Егор, по привычке шмыгнув кнутовищем за голенищем сапога.

Будулай поклонился, коснувшись ладонью груди:

– Спасибо.

Шелоро засмеялась:

– Это мы тебе давно собирались спасибо сказать. Вот. – И она обеими руками протянула Будулаю что-то завернутое в газету.

Взяв от нее этот сверток, он так и остался держать его на протянутых руках, не зная, что с ним делать. Шелоро еще веселее засмеялась, трепыхнув серьгами.

– Да ты разверни... – И, не дожидаясь, сама поспешила развернуть на две стороны газету у него на протянутых руках. Красная цыганская рубашка лежала на них. У него даже затрепетали веки: такой она была яркой.

– За что, Шелоро?

– Я ее еще с осени пошила, да все подходящих пуговиц не могла достать. За то, что ты не позволил тогда у нас детишек забрать.

– Их бы все равно у вас не взяли, Шелоро.

Но она серьезно покачала головой:

– Забрали бы. Раз за это Настя взялась, она бы добилась. – И Шелоро тщеславно спросила: – Правда, хорошая получилась рубашка?

Рубашка и в самом деле была хорошая, с густым рядом серебряных пуговиц на планке высокого воротника, хоть и чересчур яркая, уже не по возрасту ему. О такой он мечтал когда-то очень давно, когда еще только ухаживал за Галей, но тогда это так и осталось мечтой. Он еще раз поклонился Шелоро:

– Спасибо тебе.

– Носи до самой свадьбы, – по обычаю сказала Шелоро.

И Егор поддакнул:

– Носи, Будулай.

Но ему почему-то казалось, что они еще чего-то недоговаривают. И Егор все время, как в чем-то провинившийся, отводит глаза в сторону. Туда, где грелся в загоне под лучами закатного солнца только что выкупанный Будулаем табун.

Все равно он был рад им. Не так уж часто навещали его здесь гости. И по-цыгански он скоро уже совсем разучится говорить.

– А я-то думал, что вы тогда сразу же и уехали. Это хорошо, что вы остались.

Под его взглядом Егор опять шмыгнул кнутовищем в сапоге.

– Да...

Но Шелоро сразу же пожелала внести ясность.

– Ты его не слушай, Будулай, – чистосердечно сказала она, – мы бы и уехали, кровя давно тянут, да разве на этих наших клячах куда-нибудь далеко уедешь?!

Лошади и правда были у них ненадежные: мерин с бельмом на глазу и старушечьего возраста кобыла, у которой, как ни пестовал ее хозяин, ребра выступали из-под изношенной шкуры, как обручи бочки.

И вдруг Шелоро, зачем-то оглянувшись по сторонам и придвигаясь к Будулаю, горячо и заискивающе заговорила, переходя на полусшепот, хотя ее и так никто не мог услышать здесь, в степи:

– А тебе ничего не будет стоять, Будулай, пустить их в свой табун, а нам их молодыми заменить. Никто и не узнает.

Так вот, значит, чем объяснялся их неожиданный приезд! Предчувствие не обмануло Будулая. И сшитая для него Шелоро рубашка тоже должна была сослужить свою службу. Будулай сочувственно развел руками:

– Этого я никак не могу сделать.

Они по-своему истолковали его сочувственный жест и наперебой заговорили, убеждая его:

– Никто и не кинется их искать в табуне.

– Ты нам как цыган цыганам уважь.

– А потом их можно будет какому-нибудь колхозу продать.

– Или же в «Заготскот» сдать.

Между тем мерин и кобыла, о которых шла речь, понуро дремали рядом у крыльца, не подозревая о том, какая могла быть уготована им участь.

Будулай виновато протянул рубашку обратно:

– Возьми, Шелоро.

Она так и отпрянула от него:

– Ты что же думаешь, это мы хотели купить тебя?!

– Не сердись, но лошадей я не могу вам поменять.

– Лучше скажи – не хочешь.

– Ты же сама знаешь, что нельзя, Шелоро.

– Нет, это ты выслуживаешься. А нам по твоей милости с детишками хоть пеши по степи иди.

– Вам, Шелоро, тоже незачем уезжать.

Она захохотала:

– Ты что же думаешь, это мы приехали к тебе советоваться, уезжать нам или нет?! Ты совсем загордился перед своими цыганами, Будулай.

Он стоял с подаренной ею рубашкой в руках и не знал, что ей на это отвечать.

– Нет, это ты сам сиди тут, в глуши, стереги чужих коней. Через эту гордость и Настя от тебя...

Но тут даже Егор прикрикнул на Шелоро:

– Молчи!

Но ее уже нельзя было остановить:

– И правильно сделала, что она от тебя, такого, к Мишке Солдатову ушла. Ты тут сиди и дожидайся, а они уже на той неделе и свадьбу будут играть. – И гнев ее переметнулся на голову Егора: – А тебе, старому дураку, не я говорила, что его без пользы об этом просить? Дурак ты и есть.

Но тут вдруг ее маленький и тщедушный Егор выдернул из-за голенища свой кнут и занес над ее головой. Ругаясь, Шелоро прыгнула в бричку. Придремавшие под закатным солнцем лошади испуганно вздернули головы.

На минуту Егор вернулся к Будулаю с виноватым лицом:

– Ты из-за этого не обижайся на нее.

Бричка тронулась, и Шелоро, оглядываясь, еще долго что-то кричала и размахивала руками.

Он и не обижался. Он знал, что такое для цыган кони.

По табунной степи еще долго потом катилось эхо этой русско-цыганской свадьбы.

По личному распоряжению генерала сыграть ее решили за счет конезавода. И ключи от одного из новых кирпичных домов, построенных на краю поселка, должны были вручить молодым прямо на свадьбе. За вином же Михаил Солдатов, жених, сам съездил на своем самосвале с письмом от генерала к его бывшему адъютанту, а ныне председателю колхоза, на правый берег Дона.

Секретарша совсем уже отказалась пропустить Михаила в кабинет к председателю, пока там заседало правление колхоза, но, после того как Михаил все же настоял, чтобы она передала ему письмо, председатель сам его вызвал.

Прервав заседание правления колхоза, он с плохо скрываемым удовольствием прочел письмо членам правления вслух и присовокупил:

– Вот ведь как бывает. На фронте я ему, случалось, и постель стелил, и даже сапоги иногда чистил, а теперь мы с ним на равных. Еще неизвестно, что легче – дивизией командовать или колхозом руководить. – И, обводя членов правления взглядом, он остановился на одном из них, женщине: – Например, лично тебя, Пухлякова, мы тут уже битых три часа всей коллегией уговариваем, а ты как заняла круговую оборону, так и ни с места.

– Меня, Тимофей Ильич, и не нужно уговаривать.

– Но с решением этого проклятого куриного вопроса мы тоже больше не можем тянуть. Золотые получают яички, скоро эти леггорны нам весь колхоз съедят. – И, переводя сердитый взгляд на терпеливо дожидавшегося его ответа Михаила Солдатова, он неожиданно заключил: – За гвардейский привет передай генералу тоже мою гвардейскую благодарность, но скажи, что за вином ему раньше надо было присылать. За зиму и за весну мы его все какое проторговали, а какое с гостями попили по случаю нашего близкого месторасположения к райцентру и регулярного приезда иностранных делегаций в наш колхоз. Если бы я знал, я бы у нас потихоньку всю виноградную лозу под топор пустил, потому что эта драгоценная культура скоро нас тоже по миру пустит. Так Михаилу Федоровичу и передай. Конечно, жаль мне тебя, парень, обратно порожняком отправлять, но что же делать... – Вставая из-за стола, он развел руками: – Езжай.

Но Михаил Солдатов наотрез объявил:

– Покуда вы не наложите резолюцию о продаже вина, никуда я из этой комнаты не уйду!

Председатель возмутился:

– То есть как это не уйдешь?! Вон ты какой! Ты что же, хочешь нам из-за двух бочек вина заседание правления сорвать?

Михаил Солдатов взмолился:

– От этих двух бочек, может, у человека вся будущая жизнь зависит.

Председатель иронически осведомился:

– У какого такого человека? Ты нам тут, парень, демагогию не разводи. Езжай себе подобру-поздорову.

Не мог же Михаил принародно признаться, что не чья-нибудь, а его собственная будущая жизнь зависит от этих двух бочек виноградного вина.

– Если я порожняком вернусь, меня наш генерал, как за невыполнение приказа, может совсем от машины отстранить.

Председатель колхоза неожиданно улыбнулся. Этот довод показался ему убедительным. Крутость характера бывшего командира казачьей дивизии была ему хорошо известна.

– И отстранит. За невыполнение приказа он и раньше не умел по головке гладить. А ты как же хотел, чтобы он тебя за холостой пробег машины именными часами наградил? До вашего конезавода сколько отсюда километров?

– Пятьсот.

– И обратно пятьсот. Не говоря уже о затрате времени в горячую пору года, это сколько бы ты дефицитного горючего напрасно сжег!.. Ты, Пухлякова, что?

– Ничего, Тимофей Ильич.

– Жаль мне тебя, парень, и если бы я твоего начальника лично не знал, так бы ты и уехал от меня несолоно хлебавши. Но двух бочек вина я тебе все равно не дам. У нас у самих осталось всего десять бочек, но это железный НЗ. На случай какой-нибудь дегустации или же межрайонного семинара. Хватит вам для вашей свадьбы и одной бочки. – И, склонясь над столом, он прямо на письме генерала, с угла на угол, размашисто наложил резолюцию красным карандашом. Но прежде, чем вернуть Михаилу Солдатову письмо, он еще раз перечитал его, частью про себя, а частью вслух, покачивая головой и недоверчиво усмехаясь: – Это какую же вы там передовую цыганочку замуж выдаете? Значит, у вас там еще и передовые цыгане есть?

– Есть, – не отрывая глаз от письма с резолюцией, ответил Михаил.

– Не все разбежались?.. Нет, ты, Пухлякова, еще не спеши уходить. Сейчас я этого орла отпущу, и мы с тобой закончим... Бери, – сказал он, вручая наконец Михаилу желанное письмо. – Сперва зайдешь в бухгалтерию, это прямо тут, – он постучал костяшками пальцев по стене, – оплатишь и оттуда уже на винцах. – Но и после этого, уже отдав письмо, он все-таки придержал его за уголок: – А бракованная пара-другая лошадей у вас для нас найдется, если мы нагрянем к вам на конезавод?

В руке у Михаила Солдатова пока был только один уголок письма с резолюцией, а другой все еще оставался в пальцах у председателя, и надо было поскорее завладеть им целиком.

– Найдется, – твердо заверил Михаил.

– Ну езжай. Да смотри не вздумай по дороге с вина пробу снимать, а то вместо свадьбы прямо в милицию попадешь. – И все-таки он не удержался еще раз окликнуть Михаила, когда тот уже взялся за ручку двери: – А генерал, значит, у вас строгий?

– Строгий, – полуоборачиваясь, подтвердил Михаил.

– И вы его очень боитесь?

Теперь драгоценная бумажка была крепко зажата в руке у Михаила, и он согласен был отвечать все, что угодно, лишь бы сделать приятное этому человеку.

– Очень.

И Михаил закрыл за собой дверь.

Глядя ему вслед, председатель от души смеялся.

Вдруг улыбка погасла у него на лице.

– А в нашем колхозе каждый, кто захочет, может без стука вломиться в кабинет к председателю в любое время дня и ночи. И все могут трясти его прямо за грудки, кому не лень. Каждый сам себе генерал. Демократия! Я тебе, Пухлякова, по-русски говорю, что, кроме тебя, нам больше некого на птичник поставить. Или же мне самому надо замыкать правление и переходить туда высиживать цыплят.

– Хорошо, Тимофей Ильич, я согласна.

Председателю показалось, что он ослышался, и он с недоумением уставился на нее из-за стола.

– Что-то я тебя, Клавдия Петровна, сегодня никак не могу понять. А только что ты здесь наотрез отказывалась. У тебя как будто сегодня и голоса совсем нет. Скажи, пожалуйста, громче. Ты что же, передумала за это время?

– Передумала, Тимофей Ильич.

– Вот и пойми после этого вашу женскую породу. Но вообще-то, я очень рад. – Председатель даже из-за стола вышел. – Вот и давно бы так. Если бы ты, Клавдия Петровна, всегда была такая. Теперь я насчет яйценоскости и воровства кормового зерна могу быть вполне спокоен. – Рассуждая вслух, он расхаживал посреди своего кабинета между рядами стоявших у стен стульев, на которых сидели члены правления колхоза. – И если, Клавдия Петровна, тебе

что-нибудь нужно будет для птичника, ты заходи ко мне прямо без стука, в любое время дня и ночи. Не стесняйся. Нюру я тебе разрешаю в помощницы взять, я знаю, ты там семейственность не разведешь. А на заочную сессию в институт мы ее будем с сохранением содержания отпускать. – Он вдруг остановился. – Что же ты, Клавдия Петровна, плачешь? Вот и пойми после этого тебя. Никто же тебя без твоего добровольного согласия не может заставить на эту должность пойти, ты не плачь...

– Я, Тимофей Ильич, согласна.

– Да будь он неладен, этот проклятый птичник, чтобы из-за него такими слезами рыдать! Чем из-за него колхозу убытки терпеть, лучше я его самолично запалю. И рядом с виноградниками нам его никак нельзя держать. Они же на кустах не только ягоду, но и молодые листочки клюют. Если ты, Клава, не согласна...

– Я, Тимофей Ильич, теперь на все согласна.

А залитое слезами лицо ее говорило совсем другое. Председатель колхоза Тимофей Ильич совсем растерялся. Его и вообще выводили из равновесия женские слезы. И почему эти женщины плачут так, что рвут душу...

Возвращаясь на конезавод и спрямляя путь по степи, Михаил поехал через отделение, где пас свой табун Будулай. Свернув на луговое бездорожье к табуну, поравнялся с Будулаем и, затормозив, высунул из окна кабины пшеничный чуб.

– Здравствуй.

– Здравствуй.

Будулай хотел спешиться, но Михаил опередил его словами:

– Я сразу же и еду. – И, вскользя окидывая взглядом сутулившегося в седле Будулая, холодно пояснил: – У меня две просьбы. На свадьбе без посаженного отца никак нельзя, а у Насти, кроме тебя, других родичей нет. – Будулай хотел ответить ему, но Михаил нетерпеливо колыхнул чубом: – Это не я прошу... Я только передаю... А теперь и я. Но только не прошу. На свадьбе ты, как ее родственник, можешь побыть. Но после свадьбы тебе сразу же придется уехать отсюда.

Сверху вниз, с седла, Будулай тихо уронил:

– Куда?

– Этого я не знаю.

Еще тише Будулай спросил:

– А если я не уеду?

– Мне Настя все рассказала.

– Ничего она тебе не могла рассказать, потому что ничего и...

Михаил резко мотнул чубом.

– А мне до лампочки знать, что там между вами могло быть. Это не мое дело. Но если ты не уедешь...

И Будулай увидел, как пальцы на руке у Михаила, продетые сквозь оконце кабины, побелели, вдавливаясь с наружной стороны в листовую обшивку дверцы. Под Будулаем конь переступил ногами.

– Тогда что?

Михаил Солдатов здоровый был, сильный парень. Когда ему приходилось грузить в свой самосвал большие, называемые чувалами мешки с зерном, он забрасывал их в кузов так, будто это были пуховые перины. И рука у него, впечатанная теперь в листовую обшивку дверцы, была почти квадратная, большая. Но он взглянул на руку Будулая, в которой тот держал небольшую плет, и невольно вспомнил, как Настя рассказывала, что до приезда на конезавод он работал где-то в колхозе кузнецом. Однако и не это, а, пожалуй, другое удержало Михаила от тех слов,

которые уже готовы были сорваться у него. То, как этот человек посмотрел на него с седла: сурово и, как показалось Михаилу, печально.

Задрожав чубом, Михаил неожиданно для себя закончил:

– Тогда ни тебе, ни нам с Настей не будет здесь жизни.

И он включил скорость.

Ни клуб, ни какое-либо другое помещение в поселке при конезаводе не смогли бы вместить всех желающих погулять на этой первой русско-цыганской свадьбе, и наконец кто-то догадался поставить свадебные столы прямо под белолиственными тополями, когда-то посаженными здесь посреди табунной степи еще при старом конезаводчике Королькове. С тех пор они вымахали такие, что теперь над столами, составленными квадратом в квадрате же тополей, почти сомкнулись их ветви. И только в самом центре, вверху, оставался не закрытый листвой колодец, в который заглядывал с высоты колосистый месяц.

Обычно посаженные отцы на свадьбах в белых рубашках и при галстуках сидят, но это же была русско-цыганская свадьба, и Будулай в красной рубашке, подаренной ему Шелоро, занимал за столом, поблизости от молодых, положенное ему место.

Посаженому отцу на свадьбе полагалось знать многое: и не только на каком ему месте сидеть, но и когда надо вставать, и как выйти из-за стола, чтобы встретить женихову родню, как при этом поклониться и что сказать; и Будулаю ни за что бы не справиться было со всеми этими обязанностями, если бы не его соседка по столу и посаженная мать, которой Настя взяла себе свою квартирную хозяйку Макарьевну.

Вот когда развернулась старуха. Уж она-то знала все, что надо было, до мельчайших подробностей, и теперь явилась взорам во всем блеске своей многоопытности и сознания важности возложенной на нее задачи. Будулаю оставалось только не спускать с нее глаз и придерживаться ее указаний.

Еще не окончательно перевелись такие никем не заменимые старухи. Они и при свершении великого таинства появления новой жизни тут как тут. И на страже соблюдения всех тех обычаев и обрядов, без которых и свадьба не может быть свадьбой. И быть может, особенно незаменимы у изголовья разлуки всех разлук. Все родные будут в беспамятстве лежать, а они и воды согреют, чтобы смыть с мертвого последний прах земли, и оденут его в то, во что только можно одевать, снаряжая человека в последний путь. И будет счастлив тот, при ком в минуту этой разлуки всех разлук окажется такая старуха...

Но теперь была свадьба, и вожжи от нее находились в руках у Макарьевны, соседки Будулая по столу.

Это была ее стихия, и никому бы не смогло прийти в голову покуситься на ее авторитет в этой области, в которой ей здесь не было сколько-нибудь равных. Даже сам начальник конезавода, генерал, явившийся на свадьбу при всех своих орденах, не посмел ослушаться, когда она указала ему отведенное место на другом конце стола, против жениха и невесты. В то время как ей самой положено было находиться при женихе и невесте на этом конце безотлучно. Тут она была генералом. Все неукоснительно повиновались ее указаниям, и все, что ни происходило на свадьбе, исходило от нее и сходилась к ней, как к магниту. Официантки из поселкового ресторана по одному шевелению ее бровей понимали, когда им нужно разносить по столам лапшу с курицей, а когда шашлык и на какой стол добавить графинов с виноградным вином, а на какой бутылку с армянским коньяком и со «Столичной».

И не только доморощенные поселковые баянисты, но и цыгане со своими гитарами начинали играть или же умолкали только по ее команде. Специальные курьеры, назначенные комитетом комсомола, то и дело подбегали к ней и разбегались от нее во все концы во всеоружии ее инструкций.

На больший почет в ее годы она и рассчитывать не могла. И тот же цыган Будулай, ее свадебный дружок, теперь, вблизи, показался ей совсем не таким, как прежде. Несмотря на свою аспидную бородку.

Весь вечер он просидел с нею рядом за столом вежливо и культурно, ни разу не назвал ее «бабка» или «старуха», а только «Дарья Макарьевна», не спешил, как иные, напиться и не тянулся к каждому губами. Вскоре она уже настолько с ним освоилась, что между ними, пока остальные шумели молодым «горько», звенели бокалами и играли песни, завязалась застольная беседа.

– За такую свадьбу потом и вспомнить будет не стыдно, – сказала она ему, оглянув щедро убранные столы взглядом хозяйки.

Он охотно согласился:

– Хорошая свадьба.

Но ей захотелось, чтобы он оценил все в подробностях.

– За одну только водку с вином плачено больше трехсот, не считая продуктов из кладовой. Генерал приказал ничего не жалеть. А по его виду никак не подумаешь, что он такой. – И она нашла взглядом начальника конезавода, пылавшего своими орденами на противоположном конце стола под фонарем. – Сурьезный.

– Да, – и на этот раз согласился ее сосед.

Столы и в самом деле ломились. Конезавод распахнул для первой в здешних местах такой свадьбы двери своих птичников, кладовых и погребов. Но и не только это: вскоре молодые – Настя и Михаил Солдатов – уже почти спрятались за отрезами, коробками с обувью, выкладываемыми перед ними на стол от имени парткома, месткома и комитета комсомола, от жениховой родни и от Настиных подружек. А от лица всех цыган самый старый из них, с седой бородой, но с еще дегтярно-черными усами и бровями, поднес Насте и ее нареченному в раскрытых коробочках, на лиловых бархатных подушках серьги и часы. Малаша Пустошкина, сидевшая рядом со своим Васей, так и ахнула на всю площадь:

– Батюшки! Золотые!!

Но особенно долго вспоминалось потом гостям, что им давно уже не приходилось гулять на такой веселой свадьбе. За исключением, правда, самого конца ее, когда Николаю Петровичу, старому учителю-пенсионеру, вздумалось вдруг заиграть под баян совсем не свадебную песню. Но и это уже ничего не могло испортить, а лишь как бы влило в общее веселье каплю необходимой грусти. И тон этому веселью задавал не кто-нибудь иной, а сама невеста. Вопреки общепринятому правилу, что на своей свадьбе невесте полагается быть самой скромной, смиренной.

При взгляде на поющую, хохочущую и даже пьющую не меньше других Настю совсем нетрудно было убедиться, что правило это, как и многие другие, уже безнадежно устарело. Ее и прежде нельзя было заподозрить в чрезмерной смирности, а сейчас только и услышать можно было, как она то требует от баянистов, чтобы они все сразу заиграли «По Дону гуляет», то вдруг засмеется так, что, кажется, вот-вот в горле у нее что-то порвется, а то, ничуть не смущаясь, громко подхватывает недвусмысленные намеки:

– А может, их у нас с Михаилом и вся дюжина будет?! – И, поворачиваясь к своему жениху, огорошивает его, вгоняя в густую краску: – Правда, Миша?

– Вот и давно бы так, – наблюдая за Настей, говорила ее посаженная мать Макарьевна своему соседу, посаженному отцу Будулаю. – А то до этого, почитай, с самой осени, как вернется вечером с работы, упадет лицом в подушку и лежит. А он до полночи без всякой пользы слоняется под ее окнами, дожидается.

И все сходилось на том, что с такой женой Михаилу Солдатову скучать не придется.

...За исключением самого Михаила. Не нравилось ему это Настино веселье. Но искоса, сбоку взглядывая на нее, может быть, самое тревожное улавливал Михаил в том, что за весь

вечер его невеста так ни разу и не посмотрела в сторону своего посаженного отца Будулая, хотя он и сидел от нее совсем близко. Как если бы там было пустое место. И Михаил видел, что Будулай отвечает ей тем же. Но это-то и связывало их друг с другом невидимой нитью. За все время они не обменялись ни единым взглядом. Как сговорились. И тем не менее Михаил не сомневался, что все это время они видели и ни на минуту не упускали из поля зрения друг друга. И Настя, когда она вдруг начинала хохотать или же хлопать в ладоши, не теряла из виду его красную рубашку, в которой он пришел на свадьбу. И Будулай, конечно, не мог не слышать, как у нее в горле все время трепещет какой-то клубок или натягивается струна, когда она начинает громко, через весь стол сама заказывать музыку, чтобы через минуту самой же и отменить на полуслове песню, которую по ее приказанию запоем было под гитару своим рыдающим голосом главный певчий из клубного хорового кружка, молодой цыган: «Ай да зазнобила ты ж мою головушку».

– Нет, Митя, эта скучная, давай другую. – И сама же первая начнет прихлопывать в ладони, что совсем уже не пристало невесте.

Но все другие гости были довольны. Цыгане думали, что, значит, все это обязательно на русской свадьбе и Настя, умница, не хочет ударить в грязь лицом. А русские и все остальные склонны были отнестись к этому за счет того, что она цыганка. Такой у них обычай. И все громко хвалили Настю:

– Ай да Настя!

– Вот это невеста!

– Молодец, Настя!

И Михаил все больше мрачнел, совсем не дотрагиваясь до поставленных перед ним на столе и налитых до краев стопок и фужеров, хотя в иное время никто из присутствующих не стал бы упрекать его в чрезмерной трезвости, о чем, кстати, свидетельствовал и прокол, сделанный автоинспектором на его шоферском талоне незадолго до свадьбы.

Ему бы надо было радоваться, что наконец-то исполняется то его желание, с которым он так и не смог справиться с того самого дня – два года назад, когда первый раз познакомился на танцах в клубе с Настей, но это была какая-то не такая радость.

– Тебе, Миша, сейчас лучше выпить, – грустно советовал ему, наклоняясь из-за его спины, все понимающий дружок и такой же водитель самосвала Федор Касаткин.

Уж ему ли было не знать, что в другое время Михаилу Солдатову не надо было бы об этом напоминать, и Федор не мог не догадаться, какие сейчас когти впиваются в сердце его лучшего друга. Сам-то Федор Касаткин, конечно, не мог теперь отказать себе в удовольствии от души выпить на вполне законном основании и тем более на свадьбе у друга, но уж лучше бы ее и вовсе не было, этой свадьбы. А погулять в конце концов ничуть не хуже можно и на свои трудовые, конечно, в послерабочее время.

Ему, Федору, и тогда еще не понравилось, когда Михаил только настраивался на эту Настю. Он и тогда советовал другу отступить от нее, пока не поздно. Ничего хорошего из этого не должно было получиться.

И разве он не говорил Михаилу, что ей бы еще только из ноздрей пламя. Вот и теперь невесте полагается только сидеть на своей свадьбе рядышком с женихом и ожидать, когда он по всеобщему требованию поцелует ее, а она и разговаривает, и смеется громче всех, и пьет наравне с гостями – рюмка за рюмкой, – и даже уходит из-за стола, бросая жениха одного, как сироту, чтобы потанцевать под радиолу в центре свадебных столов с одним, с другим и с третьим. Фата так и вьется у нее за спиной. И потом, когда опять закричат «горько», сама первая спешит к Михаилу, и не просто чтобы поцеловаться с ним ради приличия, а кинет ему руки на плечи да так и вопьется в губы, как будто она ему еще не невеста, а уже лет пять или все десять жена. Да и хорошая жена не станет вот так, на виду у всех, облизывать своего мужа.

А не успеет от него оторваться – опять за рюмку. От этого и лицо у нее то вдруг займется огнем, то как будто сразу кто выжмет из него все до кровинки.

Но при возгласах «горько!» Михаил Солдатов покорно вставал за столом и покорно целовался с невестой, вздрагивая своим пшеничным чубом. С этим пышным, кудрявым чубом, в своем свадебном строгом костюме, с розоватым загаром на бледном лице, он был и прямой противоположностью, и ничуть не хуже своей ярко-смуглой невесты, и все любовались ими.

– Хоть куда пара, – говорила посаженная невестина мать Макарьевна посаженному отцу Будулаю. – А ведь до самого последнего она не хотела его и на порог пускать. А дотом вдруг сама заявила к нему в гараж белым днем и прямо при всех объявила: «На той неделе сыграем, Михаил, нашу свадьбу!» Сказывают, он от радости совсем ошалел, и она даже засмеялась: «А может, не хочешь?» Куда там! Он еще и сейчас в себя не пришел.

Как хозяйка свадьбы, досматривала Макарьевна и за тем, чтобы вовремя восполнялась на столах убыль в бутылках и графинах. Где же еще людям и попить-погулять, как не на свадьбе. Да еще и на русско-цыганской. При этом, конечно, «Столичную» и купленные в городе дорогие вина официантки по ее указанию больше носили на стол, за которым сидели вокруг начальника конезавода особо заслуженные гости, а «Московскую» и разливное виноградное – на столы, занятые более молодыми, которым здоровье позволяло пить все подряд, что перед ними ни поставят.

Откуда же ей было знать, что у разливного виноградного, привезенного Михаилом Солдатовым из колхоза, букет, как об этом немедленно догадались более опытные ценители, был ничуть не хуже, чем у марочных вин, специально закупленных к свадьбе в фирменных магазинах Ростова и Новочеркасска.

И даже сосед Макарьевны, цыган Будулай, к ее удивлению, предпочитал доливать в свой стакан это простое виноградное вино.

И вообще все шло, как и положено быть на свадьбе, вплоть до той самой минуты, пока не захмелел и не уронил отяжелевшую голову прямо на стол один из баянистов, Егор, муж Шелоро, а его баяном завладел учитель-пенсионер Николай Петрович.

До этого баян Егора ни разу не нарушил, не выбился из заблаговременно отрепетированного в клубе распорядка, согласно которому поселковые баянисты, закрепленные за каждым столом, вступали в игру и все вместе, вчетвером, и каждый по отдельности, и сопровождая старинную казачью песню «Ехали казаки со службы домой», и охотно уступая место цыганам, которые пели свою «Ехали цыгане с ярмарки домой» исключительно только под драмкружковские гитары. Должно быть, потому так хорошо уживались и чередовались за свадебными столами эти песни, что и та и другая зародились когда-то в степи, в дороге.

После обо всем этом напечатано было в районной газете «Табунные степи» на всю страницу под названием «Наглядное торжество идеи дружбы народов», как и о том, что начальник передового в области конезавода, заслуженный ветеран трех войн генерал Стрепетов лично вручил счастливым молодым ключи от коттеджа, построенного за счет государства, и что столы на этой комсомольской свадьбе свидетельствовали о том изобилии, к которому уже пришли наши славные труженики сельского хозяйства.

Егор Романов ничуть не хуже других нес возложенные на него обязанности свадебного баяниста, ни разу не выскочил вперед и не отстал со своим баяном, когда подходило его время, хотя после первых же стаканов виноградного вина, опустошаемых им в минуты музыкальных пауз, он и начал придирается к своему соседу по столу Николаю Петровичу.

– Ты меня судил? – допытывался он у Николая Петровича, по-заячьи приподнимая верхнюю губу с кустиком рыжеватых усов.

Николай Петрович, улыбаясь, миролюбиво отговаривался:

– Тебя, Егор, не лично я, а товарищеский суд судил.

Но Егор после каждого нового стакана, наполняемого из придвинутого им к себе графина, настраивался все более воинственно:

– Нет, ты меня за нарушение Указа оштрафовал, да?!

И вновь Николай Петрович терпеливо поправлял его:

– И не тебя же, Егор, а супругу твою.

Егор мотал головой:

– Это ты брось! Мы все понимаем. И сам же ты нарушил закон, да?! Ты не имел права с меня прямо на суде деньги брать, а?! Ты думаешь, мы, цыгане, не знаем законов? Нет, мы их должны знать очень хорошо. Как ко мне какой крючок, так я ему тут же и... вот. – И, доставая из широкого кармана своих цыганских штанов какую-то серую книжицу, он тыкал ею в лицо Николаю Петровичу. – Я ее завсегда при себе вожу. Тут все и про товарищеский суд есть. Но ты меня не по ней судил...

Шелоро, сидевшая рядом с Егором с другой стороны, пыталась придержать его своей рукой, когда он опять начинал тянуться к графину с вином.

– Хватит. Сразу наберешься и потом всю свадьбу проспоришь. Знаю я тебя.

Егор гневно отбрасывал ее руку:

– Не бойсь!

Все же на какое-то время он укрощался, мужественно оставляя нетронутым свой стакан, наполненный вином, в то время как все другие, звеня бокалами, добросовестно поддерживали все тосты, провозглашаемые за столами и во здравие молодых, и за незамедлительное приумножение их семейства, и во славу конезавода, лучше которого нет и никогда не будет во всей табунной степи.

Но потом внимание присматривающей за своим мужем Шелоро было отвлечено ее соседом справа, Василием Пустошкиным, который потихоньку положил ей на колено руку под стол. Затаившись в ожидании, что будет дальше, она на какое-то время упустила из поля зрения Егора. А привезенное Михаилом Солдатовым с правого берега Дона и теперь до краев налитое в стакан Егора вино так и пылало перед его взором. Было оно как квасок. И, выпрастывая руку из-под ремня баяна, Егор опять начинал тянуться своим стаканом и мокрыми губами к Николаю Петровичу:

– Но все-таки ты справедливый человек, и я желаю с тобой выпить.

А донское виноградное вино только с виду было как квасок. И вскоре Егор так набрался этого кваска, что его пальцы вдруг внезапно замерли, одеревенели на клавишах баяна посредине слов цыганской песни:

Ой загулял, загулял, загулял
Парнишка молодой, молодой,
В красной рубашоночке,
Хорошенький такой...

И сам Егор уронил на стол голову, мгновенно засыпая. Уже не слышал он, как его жена, Шелоро, вдруг отчетливо-звонко позвала, прижимая руку соседа Василия Пустошкина у себя на колене своей рукой:

– Малаша!

Жена Василия Пустошкина, сидевшая по правую руку от него, с другой стороны, и безмятежно занятая в этот момент обглаживанием ребрышек молодого поросенка, сердито вздрогнула:

– Ты чего?

– Твой Вася просится сходить с ним в кусты. Сходи-ка ты вместо меня, – невинно сказала Шелоро.

И уже совсем не чувствовал сморенный сном Егор, как его баяном постепенно завладел сосед по столу Николай Петрович.

Николай Петрович вовсе не намеревался при этом играть на баяне. Он просто осторожно высвободил из-под пальцев Егора клавиши и скинул с его плеча ремень баяна, когда Егор уронил на стол отягощенную хмелем голову. Но, высвобождая из пальцев Егора ряды клавишей, он невольно положил на них свои пальцы и, когда мехи баяна отозвались под ними, задержал баян в своих руках. Прислушиваясь и склонив над баяном голову, он продолжал рассеянно перебирать пальцами. Пальцы его явно не хотели слушаться. Они уже страшно давно не лежали на клавишах баяна. Еще с тех самых дней, когда впервые появились у него на груди и эти самые медали, которые теперь свешивались на муаровых ленточках, касаясь ребер баяна. Николаю Петровичу почему-то очень захотелось, чтобы пальцы все-таки послушались его. Совсем тихо, так, чтобы никто не мог услышать его, он перебирал ими, растягивая и сжимая баян и почти положив на него голову. И никто не услышал то, что он при этом заиграл. За свадебными столами все более вразнобой пели, кричали «горько», а в квадрате столов продолжались под радиолу танцы. Никто не мог услышать Николая Петровича и не слушал его, пока он, подыгрывая себе на баяне и незаметно для себя, не начал петь, а скорее негромко выговаривать давно зачерствевшим голосом:

Враги сожгли родную хату,
Сгубили всю его семью.
Куда ж теперь идти солдату,
Кому нести печаль свою?

Это была совсем неподходящая к случаю, не свадебная песня, и Макарьевна, посаженная Настина мать, ревностно следившая за неукоснительным соблюдением всех правил обряда, сразу же поманила к себе одного из своих вестовых-комсомольцев, чтобы передать с ним Николаю Петровичу распоряжение немедленно прекратить, но тут вдруг ее сосед по столу и дружок, посаженный отец Насти, глянул на нее такими глазами, что она и застыла на полуслове, потеряв дар речи. Оказывается, рано она перестала его бояться.

И с этой секунды, чуть отодвинувшись от него, она уже неотрывно, хотя и не поднимая глаз, наблюдала за ним, пока он слушал, а Николай Петрович, ничего не замечая вокруг себя и почти прислонив к баяну ухо, полупел-полуразговаривал своим надтреснутым голосом:

Пошел солдат в глубоком горе
На перекресток двух дорог,
Нашел солдат в широком поле
Травой заросший бугорок.

Вверху, над головой Будулая, шелестел своей листвой начеканенный ветром и солнцем из белого серебра тополь. И вокруг тоже было широкое поле, необозримая степь. Так, значит, это про него, про его жизнь Николай Петрович не то поет, не то рассказывает словами песни. И как так могло случиться, что до этого Будулая так и не пришлось услышать ее? А скорее всего, и потому, что всегда было некогда, недосуг ему за поисками этого бугорка, потерявшегося в безбрежно широком поле.

Постепенно стал убывать и глохнуть за свадебными столами веселый шум. Но раньше всего заглох он за теми столами, которые заняты были людьми постарше. Теми самыми, которые и шаровары с лампасами подоставали, снаряжаясь на свадьбу, и довоенного еще фасона кофты и юбки. Но также и по протезам их можно было бы узнать. И по той серой, пепельной

бледности, которая вдруг так и осыпала их щеки, когда у Николая Петровича на мгновение как будто совсем пропал голос:

Не осуждай меня, Прасковья,
Что я пришел к тебе такой:
Хотел я выпить за здоровье,
А должен пить за упокой.

Сойдутся вновь друзья, подружки,
Но не сойтись вовеки нам...
И пил солдат из медной кружки
Вино с печалью пополам.

Но перед Будулаем стоял нетронутым его стакан с вином. Никто не обращал внимания на него. Даже его соседка, посаженная мать Насти, которая уже перестала сердиться на Николая Петровича за то, что он испортил свадьбу своей неподходящей песней, и, забыв о своих обязанностях, тоже слушала его вместе со всеми.

И только лишь Настя, которая до этого за весь вечер так и не взглянула в сторону Будулая, теперь не отрываясь смотрела на него. Вверху шелестели тополя своей чеканной листвой. То ли от света электрических матовых фонарей, то ли еще от чего, но лицо Будулая казалось теперь совсем бледным, а бородка особенно черной. И сидел он за столом на своем месте посаженного отца, как замер.

Настя не отрываясь смотрела на него, а на нее смотрел ее молодой муж Михаил Солдатов и переводил взгляд на красную рубашку Будулая.

Но больше никто так ничего этого и не видел, потому что внимание всех в это время было занято совсем другим. Ну кому в самом деле интересно наблюдать, какое могло быть лицо у одного из присутствующих на свадьбе цыган – таких здесь было много, – когда куда как интереснее было смотреть на генерала, который был здесь один.

Подыгрывая себе, Николай Петрович заканчивал уже почти шепотом:

Хмелел солдат, слеза катилась,
Слеза несбывшихся надежд,
И на груди его светилась
Медаль за город Будапешт.

Никаких признаков шума уже не осталось за свадебными столами – даже за теми, за которыми сидела одна молодежь. Только лопотали тополя вверх. И все гости, повернув головы, смотрели в одну и ту же сторону. Туда, где сидел генерал Стрепетов.

На груди у него тоже светились медали и ордена, а по щекам его катились слезы. И, все крепче сжимая пальцами свой стакан с вином, сквозь пелену их совсем не замечал генерал, что все давно уже смотрят только на него.

Не исключая и Егора Романова, который вдруг проснулся и поднял голову от воцарившейся за столами тишины.

Макарьевна, всхлипывая, повернулась к своему соседу:

– А я думала, что генералы никогда не... – Последнее слово так и осталось у нее на губах. Ее соседа, посаженного Настиного отца, на своем месте и вообще на свадьбе уже не было. Настя рванулась из-за стола. Но рука молодого мужа, сжав за локоть, не пустила ее.

Начальник конезавода, несмотря на то что он оставался вместе со всеми на свадьбе до конца и вернулся домой уже за полночь, проснулся, по своей всегдашней привычке, еще в пять часов утра, но вставать с постели на этот раз против обыкновения медлил. И в голове после всего этого шума, а может быть, и после выпитого вина оставалась тяжесть, и вообще вся эта перегрузка была ему уже не по летам.

Однако и без этого у него были основания уже с утра чувствовать себя сегодня неважно. Связано это было с намеченной им сегодня поездкой в город, в область. Приподнимая от подушки голову, он видел в окне уже дожидавшийся его под акациями «виллис».

Та часть этой предполагаемой поездки, которая, судя по всему, обещала быть приятной, приходилась на вторую половину дня, на вечер, когда должна была состояться в областном драмтеатре встреча ветеранов Первой конной. Не только со всего Дона, но и из других смежных казачьих областей должны были съехаться его товарищи, с которыми будет что вспомнить – и из времен Гражданской, и из времен Великой Отечественной войны. Но в том-то и дело, что предшествующая этому первая половина дня обещала для него стать куда менее приятной. И связано это было все с теми же объяснениями, которые ему опять придется давать в сельхозотделе обкома, почему во вверенном ему конезаводе и в этом году, судя по всему, кукуруза не удастся на зерно. Мало того что пять лет назад ему приходилось врукопашную отбивать от распахки под эту королеву полей каждый гектар ничем не заменимых табунных лугов. Теперь из-за нее же еще и держи каждый год ответ, как мальчик. А если он и сам не знает, почему эта королева оказывается такой бесплодной при малейшем дуновении на нее юго-восточного заволжского суховея?..

Ночью, ложась спать, генерал поставил у своего изголовья на стуле кувшин с огуречным рассолом и теперь, предаваясь невеселым размышлениям, отпивал из него глоток по глотку, освежаясь. За этим занятием застала его жена, вошедшая сказать, что к нему пришел какой-то человек.

Из-за края кувшина он взглянул на нее сердитыми глазами.

– Что еще за человек в такую рань? Ты что же, до сих пор не научилась, как надо отвечать?! Пусть ждет в конторе.

– Я ему так и сказала, а он вежливо извиняется и говорит, что не может ждать. У него срочное дело. Это какой-то цыган.

При этом слове генерал как ужаленный сбросил с кровати ноги.

– Цыган?!

Недостаточно, оказывается, того, что все последнее время ему от этих цыган на работе отбоя нет. Все сразу как с цепи сорвались: рассчитывай, да и только! Теперь же они и дома до него добрались. Но и всякому терпению есть предел. Этот цыган, который не постеснялся прийти к нему ни свет ни заря, раз и навсегда забудет дорогу к его дому.

Разъяренный, он как ураган промчался мимо отшатнувшейся жены к двери, в шлепанцах на босу ногу и в полосатой ночной пижаме, не забыв, впрочем, накинуть на плечи свой летний китель с вышитыми на погонах звездами генерал-майора. Ярость его удвоилась, когда, распахнув дверь на крыльцо, он увидел перед собой Будулая. Не кого-нибудь иного, а того самого Будулая, который заверял генерала, что лично он не так, как другие цыгане, уже не собирается ни в какие бега и, даже больше того, решил окончательно поселиться на конезаводе. Теперь же достаточно было лишь взглянуть на его лицо, чтобы тут же догадаться, зачем он пожаловал в этот ранний час к генералу на дом. Генерал так и задохнулся:

– И ты?!

Будулай не стал отрицать:

– И я, товарищ генерал.

Но прежде, чем генерал успел обрушить на его голову все то, что только и должен был ожидать от него этот цыган, тот быстро сказал:

– Но вы сперва, пожалуйста, дайте мне сказать, а потом уже кричите на меня.

– У меня нет такого свободного времени, чтобы с каждым дезертиром в беседы вступать, – отчетливо отрезал генерал и круто повернулся к нему спиной, чтобы опять скрыться в доме. Но его догнали слова:

– Я, как вы знаете, товарищ генерал, никогда дезертиром не был и не могу позволить так меня называть!

Генерал, как на оси, повернулся к нему с неожиданной легкостью для его тучного тела:

– А как же еще ты прикажешь тебя называть?! Дезертир и есть. Я же сразу увидел, что ты ко мне за расчетом пришел. Или, может быть, нет?

– За расчетом, товарищ генерал.

– А раньше, ты помнишь, что мне говорил?

– Помню.

– И после этого ты еще хочешь, чтобы я с тобой здесь, на крыльце, в душеспасительную беседу вступил?

– Нет, на крыльце об этом не стоит, товарищ генерал, – серьезно сказал Будулай.

Генерал с неподдельным любопытством заглянул ему в глаза снизу вверх: уж не смеется ли над ним этот цыган? Нет, в его глазах не видно было и тени насмешки.

– Может быть, мне тебя к себе домой на утренний чай пригласить?

– Можете не беспокоиться, товарищ генерал, – с грустным сожалением глядя на него сверху вниз, сказал Будулай. – Я уже пил чай.

И, встречаясь с его взглядом, генерал чего-то устыдился. Толкнув плечом дверь и косо-боко поворачиваясь на тесном крыльце, чтобы пропустить Будулая в дом впереди себя, буркнул:

– Но только ты учти, моя машина долго не может ждать.

Шофер «виллиса» успел и дозреть, склонив голову на руль, и дважды прослушать по радио сводку погоды, но дверь, выходящая на крыльцо домика генерала, так и не отворялась. И посигналить под окнами, чтобы напомнить начальству о своем существовании, ни в коем случае не разрешалось. Генерал сам не любил опаздывать, и если он теперь задерживался, значит была причина. Хотя, вообще-то, трудно было представить, что за причина могла заставить начальника конезавода столько времени – битых два часа – оставаться с глазу на глаз с этим цыганом, чей велосипед приткнулся сбоку крыльца к стволу клена. Солнце уже и в багровой краске успело выкупать его листву, и в оранжевой, и в желтой, а теперь перебирало ее своим перламутровым гребнем.

Наконец дверь открылась, и вслед за своим необычным гостем генерал вышел на крыльцо.

– А я было совсем уже подумал, что и тебя опять потянуло гоняться за ветром, – говорил он, грузновато спускаясь рядом с цыганом по ступенькам и застегивая на груди свой пыльник, – и совсем уже настроился развернуть тебя на все сто восемьдесят градусов, как дезертира чистой воды, но это же получается другое дело. Я бы даже сказал – великодушно с твоей стороны. Может быть, и я на твоём месте поступил бы точно так же. – Генерал приостановился на последней ступеньке, на мгновение придержав Будулая рукой за плечо и тут же отпуская его. – А может, и нет. – И, уже сойдя с крыльца и останавливаясь перед ним под густой кроной клена, вздохнул: – Я всю жизнь даже в карты не любил оставаться в дураках. Нет, ты не обижайся, я уже сказал, что все это с твоей стороны благородно, ну и так далее, но тем не менее у тебя есть время еще раз все взвесить и перерешить. Никто же тебя отсюда в шею не гонит. – И, не дождавшись от Будулая ответа на эти слова, он догадливо заключил: – Значит, твердо?

– Твердо, товарищ генерал.

– И ты думаешь, они все это смогут оценить?

– Я об этом не думал, товарищ генерал.

– Ну что ж, как говорится, вольному воля. Откровенно говоря, не очень мне хочется в твоем лице такого табунщика терять. Но и отговаривать тебя, как я уже сказал, не вправе. Во всяком случае, если не теперь, а потом ты передумаешь и захочешь вернуться, место для тебя на нашем конезаводе всегда найдется.

– Спасибо.

Но генерал, не хотевший, чтобы его хоть сколько-нибудь могли заподозрить в проявлении сентиментальности, тут же и пояснил:

– С табунщиками, как ты сам знаешь, у нас не густо. Так что можешь пока считать себя в долгосрочном отпуске без сохранения оклада.

– Спасибо, товарищ генерал, – повторил Будулай.

И опять начальник конезавода отвел его благодарность жестом:

– И что же ты теперь, так от самого начала по этим своим картам и махнешь?

– По ним, товарищ генерал.

– А потом?

– Не знаю. Потом видно будет.

– Может быть, как твоих сородичей, опять потянет кочевать?

– Нет, я уже свое откочевал.

– Ну, тогда запомни то, что я тебе сказал. И не спеши опять со своими благодарностями. Я начальник конезавода, а у нас с табунщиками дефицит. – И генерал круто повернул разговор в другое русло: – Если откровенно говорить, завидую я тебе. Я бы и сам давно уже во время отпуска вместо всяких там Цхалтубо и Сочей... – Он безнадежно махнул рукой. – Да видно, так и не соберусь. Если бы я тоже, как ты, был один... – И он оглянулся на занавешенные зыбким, колеблющимся тюлем окна своего дома. – На чем же ты думаешь ехать?

Будулай положил смуглую руку на поблескивающий никелем руль своего велосипеда, прислоненного к стволу клена:

– Вот мой конь.

– Ну, на нем-то тебе далеко не уехать. – Генерал на секунду о чем-то задумался. – У вас, по-моему, на отделении два мотоцикла?

– Два, товарищ генерал.

– А деньги у тебя, надеюсь, есть?

– Мне их некуда тратить, товарищ генерал.

– Ну тогда вот что... – Пошарив у себя на груди под пыльником, генерал достал маленькую записную книжку и карандаш и, что-то коротко, размашисто написав на развернутой книжке прямо на весу, протянул Будулаю вырванный листок. – Внесешь в бухгалтерию все, что положено, и возьмешь мотоцикл себе. – Будулай хотел что-то сказать, но генерал не дал. – Без тебя знаю... И смотри мне, пока свой табун по акту не сдашь, не уезжай. Все поголовье пересчитать. В присутствии главного зоотехника и ветеринара. У вас за это время никаких ЧП не было? Все лошади целы?

– Все, товарищ генерал.

– Ну и прощай.

Но и после того, как он уже направился к своему «виллису», в котором шофер так и вкогтился в руль, как беркут в свою жертву перед взлетом, он еще раз оглянулся.

– А как ты все-таки думаешь насчет конницы, цыганский казак?

Будулай встретился с устремленным на него нетерпеливым взглядом и не мог ответить иначе, чем ответил:

– Жаль, товарищ генерал.

Бывший командир кавалерийской казачьей дивизии даже сделал шаг назад, к Будулаю.

– Вот и мне... – Но тут же он сурово махнул рукой и, запахивая свой пыльник, опять отвернулся к «виллису».

Из-под взревшего «виллиса» вместе с синим дымом выпорхнула целая туча жирной черноземной пыли. И только после того, как она рассеялась, мазутными хлопьями оседая на придорожной траве, покатылся по той же дороге на своем велосипеде к центру поселка Будулай.

Сдвинулись цыгане. То по мягкой степной дороге нашептывают что-то невнятное копыта их лошадей, то вблизи городов опять выезжают на асфальт. В знойный полдень они оставляют на растопленном солнцем черном месиве дороги полукруглые чашечки следов, а зимой покают по твердому четко и как-то даже горделиво. И опять, вынырнув из подворотен, бежит, приплясывая, вдогонку этому цокотанью начавшая было забываться людьми не очень веселая придумка о цыганах, заночевавших в морозной степи под рыбачьим бреднем: «А с чего это ты, сынок, так дрожишь?» – «Ой стужа, батя!» – «Тю, а ты вот просунь палец сквозь бредень наружу. Вот где стужа».

Едут цыгане и по ночам. Над их головами созревают и осыпаются с колосьев галактики звезды, а иногда и свет спутника просверкнет в полумесяце серьги цыганки, приуснувшей под мягкий гул колес на ворохе тряпья в окружении своих детишек.

Не спят лишь цыган да его собака, не отстающая от колеса брички ни на шаг.

...Целая тьма шатров стоит по обеим сторонам веселой зеленой балки, вокруг вразброд пасутся на лугу лошади, и среди них неразумные разномастные жеребята, а на дне балки не меньше дюжины цыган устроились на корточках у своих маленьких дорожных наковален, и отец впервые позволил Будулаю подкачивать мех горна, железо поет под молотками на всю степь, но это не может заглушить и той знакомой с детства песни, которую поют у большого костра цыганки.

Да, это та самая песня, которую ему когда-то часто пела Галя, а недавно напомнила и Настя. Славная девочка, но в эти годы еще нельзя до конца знать свое сердце, и может показаться, что любишь, когда только хочешь любить. И он не мог поступить иначе. Если б не это, то он бы, наверно, так и остался жить в этой табунной степи. Люди там хорошие, кругом тишина и травы, травы...

Нет, это совсем не похоже на сон и не чудится ему. Глаза его давно уже открыты, вон скворец раскачивается на ветке, весь взъерошился, растопырил крылышки и закинул головку, сейчас должен затрещать, а вон угод неслышно, как призрачная тень, скользнул в листве. И совсем рядом, у щеки, красный муравей, как грузчик, ворочает втрое больше его самого личинку. А зеленая гусеница ползет к такой же зеленой кобылке.

Какой же это сон, если, кроме песни, еще так явственно потягивает запахом дыма! И голос не Галин и не Настин, а совсем низкий, как мужской, хотя и женщина поет. Притом совсем близко, рядом.

Будулай сел; еще не поднявшись, раздвинул ветки молодого, но уже густолистого дуба. Вдоль дубовой государственной лесополосы, которая с вечера приютила его, когда он обнаружил в своем мотоцикле небольшую поломку, тянулась грунтовая, хорошо наезженная и почищенная грейдером дорога, а через дорогу, сквозь седловину между двумя буграми, розовел далеко внизу под утренним ранним солнцем Дон, и за ним почти сплошь задернутое сейчас пеленой тумана Задонье, откуда он вечером переправился на пароме. Лишь кое-где сквозь туман пробивались, расплываясь, еще не всюду погашенные по раннему времени огни левобережных станиц, полевых станков.

И вот в этой-то седловине, между двумя придонскими буграми, в падинке, стояли три телеги, а посередине них курился дымок. Женщина, сидя у костра на корточках, что-то ворочала в нем палкой и вполголоса пела знакомую Будулаю цыганскую песню. Разбредшиеся вокруг лошади похрустывали травой.

Она не испугалась, когда Будулай, мягко ступая по траве, остановился у нее за спиной и по-цыгански сказал:

– Здравствуй.

Она спокойно повернула голову, и он увидел, что у нее лицо уже немолодой женщины, старухи, но глаза еще яркие и взгляд у них острый.

– Здравствуй, рома. – И опять отвернула голову, продолжая ворошить палкой в костре, в котором у нее что-то пеклось.

– А где же ваши другие люди? – спросил Будулай.

– Там станица, – коротко показала она палкой между буграми по уходившей под гору ложбине, считая излишним объяснять ему то, что он должен был и сам знать как цыган.

И он больше ничего не спросил у нее, тоже присев против нее на корточки у костра. Выкатив из костра палкой печеное яйцо, она подкатила его Будулаю:

– Бери.

Он не стал отказываться, так как заметил, что в золе костра еще пекутся яйца, и, прежде чем очистить яйцо, стал перекачивать его, раскаленное, из ладони в ладонь.

– А ты положи его в траву. Роса.

И правда, в смоченной росой траве яйцо сразу же остыло, и когда он стал очищать его, корка сама отделилась. Цыганка молча протянула ему ломоть хлеба с насыпанной на него кучкой соли и, выкатив из костра другое яйцо, для себя, продолжала, хотя он ничего больше не спрашивал у нее:

– Но все равно они опять вернутся оттуда с пустыми руками. Не послушались меня.

Если бы он полюбопытствовал у нее, в чем же именно не послушались ее те, которые спустились в станицу, она бы, возможно, не стала больше откровенничать с ним, незнакомым ей цыганом. Но он, надкусывая яйцо вместе с ломтем хлеба, лишь взглянул на нее и этим, видимо, больше всего и внушил ей доверие.

– Я им говорила, что по задонским глухим хуторам можно скорее мел променять, но они же теперь старых и слушать не хотят. И моего тоже сбили. – Отвечая на молчаливый вопрос в глазах у Будулая, пояснила: – Мы по-за Шахтами из-под Белой горы кирками мел вырубаем, мелом его и меняем по три блюда за блюще муки и по две цебарки за цебарку картошки. А если деньгами, то можно иногда за бричку мела и двадцать рублей наторговать. Но на этом берегу мы за два дня и полбрички еще не успели расторговать. – И, кивнув на подводы с мешками, туго набитыми чем-то белым, добавила: – Тут из-под придонских круч они привыкли сами какую угодно глину добывать: и желтую, и красную, и мел. А там, по-за Доном, глушь, там могут и за блюще мела блюще пшеничной муки дать.

После такой ее откровенности не возбранялось, пожалуй, и самому спросить:

– А как же вы теперь, так опять все время и будете с места на место переезжать?

Впервые она с сомнением и остро-проницательно посмотрела на него.

– Ты или прямо с луны упал, или у тебя от цыгана одна только борода осталась. Кто же нам теперь позволит кочевать? – Она порылась рукой где-то за вырезом своей кофты и протянула Будулаю раскрытый на ладони паспорт, впрочем не отдавая его ему в руки. – Видишь, тут штамп. Я теперь каждому могу доказать, что не где-нибудь, а в Бессергеновском совхозе живу. А это, – она кивнула в сторону бричек с мешками, – мне никто не запретит своей родной сестре для шикатурки дома отвезти... Мы, рома, в станице Бессергеновской правда на виноградниках работаем, а мужчины кто сторожует, а кто при лошадях. – И она с некоторой даже гордостью добавила: – У нас в совхозе жить можно. И свое вино есть.

Нехорошо было злоупотреблять чужой доверчивостью, но цыганке, видимо, наскучило одиночество у костра, и она сама рада была приоткрыться незнакомому человеку. А вокруг от травы под лучами утреннего солнца испарялась роса. Паслись на траве цыганские лошади.

Внизу, сквозь седловину между буграми, виднелся Дон. И в огне костра весело сгорал прошлогодний бурьян. Будулай спросил:

– Зачем же вы опять ездите, если там можно жить?

И снова она бросила на него свой остро-проницательный взгляд из-под быстро взметнувшихся век:

– Нет, тебе пора уже и цыганскую бороду постричь. Как будто ты и сам не знаешь. Я вот трошки посидела в степи у костра, поворошила память, и мне как-то легче. Не все то лучше, что лучше. – Она вдруг мимолетно заглянула ему за борт пиджака. – Так это, значит, ты и есть Будулай?

– Откуда ты меня знаешь? Я раньше никогда не видел тебя.

– Ты еще молодой, а я уже старая цыганка. – И она загадочно улыбнулась, на миг открыв еще совсем крепкие белые зубы. Так он и не понял, что могла означать ее улыбка. Похрустывали травой лошади. Она повернула голову. – А вот и наши идут.

Из-под горы, куда спускалась лощинка, донеслись голоса. Цыганка прислушалась.

– И, сдается, опять на дурницу. Вон как гомонят. Грызутся, должно. А моего Мирона что-то не слышно. Это, значит, они на него все гуртом напали, что опять не туда их повел. Сами его сбили, и он же теперь виноватый.

Голоса снизу приближались, и вот уже из-под горы на серебристо-сизом от полыни склоне показалось многоцветное пятно. Будулай встал. Не хотелось ему оказаться сейчас среди своих соплеменников в этот час раздора между ними.

– Уходишь?

– Спасибо тебе.

– А то бы, может, остался с нами, Будулай?

– Зачем? Ты же сама сказала, что мне пора уже цыганскую бороду постричь.

– А ты уже и обиделся. – Она задумчиво пожевала губами. – Хочешь вместо моего Мирона к нам в старшие пойти? Моего молодые давно уже не хотят понимать. Ты, говорят, дед, для нас уже не ав-то-ри-тет, теперь другое время. А с молодыми цыганками совсем сладу нет. Им говоришь, чтобы они больше юбки не подшивали, какая же это цыганка, если у нее будут коленки сверкать, а они скалятся: «Вот ты, бабушка, и закрывайся, все равно тебе уже нечего показать...» Может, и правда им нужен авторитет. Такой цыган, как ты. Еще не старый и... – она снова заглянула за борт пиджака Будулая, – при орденах. Хоть ты, говорят, и слишком честным цыганом хочешь быть. – И она снова улыбнулась, на миг обнажив свои молодые зубы. – А моему Мирону уже пора освобождение дать. И с милицией в его года как-то совестно дело иметь. Оставайся, Будулай!

Из-за гребешка склона сквозь кусты шиповника уже завиднелись головы поднимающихся из-под горы цыганок и цыган. Ссора между ними, должно быть, действительно разгорелась нешуточная. Они все сразу кричали, размахивая руками.

– Нет, прощай.

– Ну как знаешь.

Она сердито отвернулась от него.

Конечно, можно было и дальше ехать с этой полумокрой – всего лишь надтреснутой тягой, как до этого, должно быть, зная о ней, ездил пол-лета на свидания со своей пасечницей второй табунщик. Но ехать на свидание и начинать опять весь тот путь, который был проложен на картах Будулая, все-таки не одно и то же. Тем более что прямо здесь же, справа за лесополосой, дымится в низине труба какой-то мастерской, стоит лишь немного отклониться от шляха.

– Дело тут совсем пустяковое, и я бы не прочь, – откинув с лица эбонитовую маску, виновато говорил Будулаю сварщик, – но если наш директор совхоза узнает, что я цыгана уважил, он меня со свету сживет.

– Почему?

– Потому что у нас директор тоже цыган.

– Непонятно.

– А вот ты попробуй сходи к нему за разрешением и сам, может быть, поймешь. Тут всего через десять домов. А мне заварить нетрудно.

И захотелось Будулаю своими глазами посмотреть на этого самого цыгана, который может человека со света сжить, если тот захочет другому цыгану помочь. Что-то это мало было похоже на правду. Какая только слава не катилась за цыганами по земле, и самая горькая правда о них переплеталась с жестоким вымыслом, но о таком он слышал впервые.

Никакого цыгана в кабинете директора совхоза, куда вошел Будулай, не оказалось. Просто смуглый человек в темно-синем костюме со звездочкой героя на груди сидел за письменным столом, почти утонув в глубоком кожаном кресле, и что-то старательно писал, низко склонив голову, как ученик за партой. Тем более что и в сплошь седых волосах его, крупными кольцами упавших на лоб, нельзя было увидеть ни одного черного волоса.

Должно быть, этому сварщику из совхозной мастерской захотелось подшутить над Будулаем, цыганом, и теперь он там с товарищами дает волю смеху.

Громадные многоколосые снопы безостой пшеницы стояли по углам кабинета, справа и слева от письменного стола, за которым сидел директор. И Будулая он выслушал, не поднимая головы, продолжая писать. Лишь чуть-чуть замедлилось движение его авторучки по листу бумаги, лежавшему перед ним на столе.

– Ну и что же, – спросил он, – какой это умник мог вас с такой мелочью к директору послать? Пусть бы и заварили.

– Они говорят, что это ваш приказ, – по-цыгански сказал Будулай.

И только после этого директор поднял голову, взглядывая на него. Тут Будулай сомневаться перестал. У кого же еще и бывают такой густой черноты и такого горячего блеска глаза! Как расплавленная смола.

– Так бы ты сразу и сказал; это действительно мой приказ, и отменять его для тебя я не намерен. Можешь не просить.

– Я и не собираюсь, – сказал Будулай.

Директор опять с удивлением поднял глаза:

– А зачем же ты тогда заявился ко мне?

Он говорил Будулаю «ты», и Будулай решил отвечать ему тем же:

– Чтобы как следует посмотреть на тебя.

Директор совхоза насмешливо улыбнулся:

– Ага, значит, ты на меня обиделся, рома. Ну и теперь отваливай. Езжай и рассказывай по дороге всем другим цыганам, что есть, оказывается, среди нас один такой сукин сын, которого нужно за сто верст объезжать.

Будулай покачал головой:

– Нет, я скажу им, что ты действительно герой.

Директор невольно дотронулся ладонью до золотой звездочки у себя на груди и тут же, отдергивая руку, с угрозой сказал:

– Ну-ну, этого ты касаться не смей.

– Не грози никому и сам не будешь бояться, – опять по-цыгански ответил ему Будулай.

Властный окрик остановил его уже у самой двери:

– Нет, подожди!

И когда Будулай вновь обернулся, он увидел, что директор совхоза уже не сидел в своем кресле, а стоял в углу, где были пшеничные снопы, и рылся в них.

– Вот. – В руке у него вдруг сверкнул кнут. Обыкновенный, на вишневом кнутовище кнут, такой же, какой всегда носил за голенищем своего сапога тот же Егор, муж Шелоро. – Ты знаешь, что это?

Будулай спокойно сказал:

– Знаю также и то, зачем ты его у себя в кабинете держишь.

Стоя, директор совхоза оказался совсем небольшого роста человеком в темно-синих гимнастерке и брюках, заправленных в мягкие шевровые сапоги. Такие, какие обычно любят носить цыгане. Закидывая голову и закладывая палец за широкий желтый ремень, он с интересом уставился на Будулая:

– Ну и зачем же, по-твоему?

– Чтобы все могли видеть, как ты от этого цыганского кнута до звезды героя дорос. И теперь можешь этим самым кнутом выгонять из своего кабинета всех других цыган.

– Вот ты, оказывается, какой, рома, догадливый. – Директор неожиданно улынулся. – Но только наполовину. Из кабинета я этим кнутом пока еще их не выгонял, а вот по степи действительно гнал. Вплоть до самой границы совхоза. Хотел бы я знать, как бы ты на моем месте поступил, если бы они украли у тебя одиннадцать лошадей? И не какие-нибудь проезжие цыгане, а те же самые, которых ты же и призрел, в новые кирпичные дома с ваннами и всеми прочими удобствами вселил, а их детишек одел и обул за счет директорского фонда. Конечно, после всего этого надо было бы их по всей строгости наших законов проучить, но я их по-цыгански проучил. Догнал на «Победе» в степи и... – Цыганский кнут коротко щелкнул у директора совхоза в руке.

– И после этого ты, конечно, считаешь себя очень добрым, – в тон ему сказал Будулай.

– А ты что же хотел, чтобы я их в руки милиции передал? – с удивлением спросил директор. – И потом бы их за конокрадство лет на пять, а то и на все десять упекли? А детишки их за это время пусть хоть с голоду перемрут, а? Небось они мне же теперь и спасибо говорят. Помоему, лучше под кнутом побывать, чем под судом.

– Не все то, рома-директор, лучше, что лучше... – И, лишь сказав эти слова, Будулай вспомнил, что он и сам только что услышал их от старой цыганки. Вот, оказывается, они уже и пригодились ему, хотя она имела в виду совсем другое. – И еще кто как на это смотрит. А помоему, уж лучше под суд попасть, чем опять под кнут. Но-но, ты не сердись, рома-директор, и скажи, чтобы он не вздрагивал у тебя в руке. Жалею, что меня тогда не было в степи среди этих цыган. До этого они хоть и отсталые были цыгане и даже конокрады, но они уже были приучены советской властью, что на них никто не может руку поднять. А ты с них сразу всю эту науку своим кнутом сбил. А их дети в это время стояли и смотрели, как их отцов бьют. И теперь ты ждешь, когда тебе за это спасибо скажут. За то, что ты их сначала в своем совхозе воспитывал, а потом довоспитывал в степи кнутом.

Директор совхоза встревоженно спросил:

– Ты что же этим хочешь сказать?..

Но Будулай не дал ему продолжить:

– Только то, рома-директор, что ты уже можешь позволить себе быть таким добрым. Потому что ты уже не простой цыган, а герой. Ты уже вышел из цыган. А те цыгане так себе и остались, какими были. И ты уже можешь за то, что они еще кочуют, лошадей крадут и доверчивых людей дурят, не отвечать. Это уже не твоя печаль. У тебя совесть может быть спокойной.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.